Эрвин Лазар

Фокусник

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Lázár Ervin

Эрвин Лазар

Фокусник

Рассказы

Перевод с венгерского

Составление М. Ульрих

Предисловие Е. Малыхиной

Москва
«Известия»
1987

И (Венг)
Л17

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент В. Васильев

Обложка художника С. Тюнина
© Lázár Ervin, 1981
© Оформление, составление, предисловие, перевод ив русский язык издвтельство «Известия», журиал «Иностраииая литература», 1987

Фантастический и реальный мир Эрвина Лазара

У Эрвина Лазара задумчивое лицо крестьянина или мастерового. Крупные черты, глубоко прорезанный поперечными морщинами лоб, густые «мадьярские» усы, печально опускающиеся к углам рта, под тяжелыми бровями — большие пристальные глаза, глядящие с тем прищуром, какой складывается у иных людей с юных лет, людей, привычных к долгим дорогам под солнцем и ветром, под дождем и снегом. А еще у тех, кто одарен способностью и в самой обыденной обыденности прозревать волшебные миражи, которые не застилают собой реальность мира, но рисуют его в особенной проекции, поражающей воображение, заставляющей мыслить живее и свободнее.

Эрвину Лазару было дано и то и другое, причем с самого раннего детства: и долгие многокилометровые дороги через заснеженные поля — с родного хутора в далекую для детских ног школу,— и богатая фантазия, буйно распускавшаяся в этих одиноких походах-путешествиях. А было их немало.

«Жили мы на хуторе Алшорацэгреш,— писал Э. Лазар.— Там прошли мои первые пятнадцать лет. В общем, этот период оказался самым непоседливым в моей жизни: школы на хуторе не было, и меня чуть ли не ежегодно переводили из одной школы в другую. Пальму первенства в этом смысле заслуживает мой четвертый класс — в тот учебный год я побывал учеником четырех школ: в Фелшёрацэгреше, Мезёсентдёрде, Шарсентлёринце и Эрчи». Скупое перечисление, но оно позволяет угадать многое. Детский страх оказаться одному в незнакомых местах. Счастье узнавания нового. Горечь расставания с только-только приобретенными друзьями. Острое любопытство к постоянно меняющемуся окружению. Чувство одиночества всегдашнего новичка среди сложившейся по своим законам общности. Пылкая жажда

дружбы, тяга к людям, доверчивость, возросшая в тепле родного дома. Изумление перед нежданными самыми первыми ударами зла, незащищенность, растерянность — и постепенно накапливающаяся готовность к отпору. Не только и не столько к физическому отпору, но в гораздо большей степени отпору духовному.

В маленькой повести «Воробей в Сердце Иисусовом» это становление личности происходит у нас на глазах. Сложный внутренний мир десяти-, двенадцатилетнего мальчика писатель не раскладывает на формулы, не «рассказывает» его, не объясняет методически, с высоты взрослого знания, причины и следствия поступков ребенка — он как бы снимает с его строящей себя души непроницаемые покровы, и тогда становится видно, как клубятся и бурлят первозданные ее элементы, то сплетаясь, то отталкиваясь друг от друга, как из повседневных и на посторонний взгляд незначительных встреч с Жизнью творится характер, творится человек, всегда неповторимый.

Тот конкретный человек из повести — маленький хуторской мальчонка, отданный в городскую гимназию, принадлежавшую суровому монашескому ордену цистерцианцев,— носит явные автобиографические черты. У самого порога детского сознания мальчишки — только что окончившаяся война, вторая мировая война, смутно материализованная в зеленых солдатских открытках с фронта, присылаемых дядей Дюси, а потом, очень скоро, в «похоронке» с его крупными буквами написанным именем. Попав в город из отдаленного венгерского хуторка, мальчик оказывается полностью предоставленным самому себе: родители далеко, монахи-учителя замкнуты и суровы, даже те из них, которые считают необходимым принимать участие в детских играх; они до последнего мгновения стараются отгородить своих учеников от новых социальных веяний в еще не сложившейся как общество, но уже подымающейся из послевоенных руин Венгрии. Лишь случайно выхваченные ухом обрывки «взрослых» речей о новом, справедливом жизнеустройстве проникают в сознание ребенка, находя довер-

чивый отклик, но пока еще иикак не отражаясь в окружающей его действительиости или отражаясь, ио пугающе искажеино. Здесь, в гимиазии, иеподалеку от церкви Сердца Иисусова и в самих ее стенах, несправедливость больиее всего бьет мальчика, изиачальио раскрытого радости и добру. Рождеиный любить, ои здесь, в самом Сердце Иисусовом, иаучается иеиавидеть. И стойко оберегать от посягновеиий зла свой внутреиний мир, где действительность щедро расшита мечтой, воображеиие закаляет душу, а фаитазия столь же реальна, как плечо вериого друга.

Одареииость, предрасположеиность к творчеству героя повести очевидны, прочитываются между строк — но ведь дети, кто больше, кто меньше, по самой сути своей все таковы. Эрвии Лазар иикак и ие выделяет с этой стороиы своего только-только выходящего в бурное житейское море героя. Писателю важией в ием другое: иравствеииый стержеиь, позволяющий при любой погоде оставаться самим собой.

В том, что эта способность оставаться самим собой есть фуидамент талаита, непремениое условие для развития творческой личности, дает себе честный, но, увы, запоздалый отчет герой большой иовеллы Эрвина Лазара «Если ты мудр, как змея», скульптор, достигший «положеиия», ставший «фигурой» ценою утери собствеииого творческого «я». В своей излюблеииой маиере времеиий́х совмещеиий Лазар высвечивает долгую череду компромиссов в жизни героя, лживую змеииую гибкость приспособлеица, коиъюиктурщика, который, сам ие заметив, как с иим такое случилось, оказался способиым ради сиюмииутиой потребы дия (именуемой, разумеется, «требованиями эпохи»!), ради мелочного успеха предать и учителя, и друга, и любовь. В конечном же счете — себя, самую душу свою, которая когда-то так ярко светилась, обещала так миого...

Писатель Эрвии Лазар протестует против «змеиной мудрости» всем своим творчеством, всей своей красочиой и разиоликой прозой, обращеииой с великим доверием и к взрослым, и к детям. Его героям внятно всякое чудо, кипучая творческая фаитазия для них есть просто форма суще-

ствования, зеркально верное отражение бытия. Эти герои самим своим умением — или, лучше сказать, даром?! — увидеть в собственной квартире синюю лошадь, да так ярко увидеть, что даже строгий «следователь из важного учреждения» почует лошадиный дух, протянет руку, чтобы ухватить ее мелькнувшую на стене синюю гриву,— эти герои противостоят бездуховному миру прагматиков, людей-роботов, неспособных взлететь мечтою над буднями, увидеть просторы и дали, хотя бы просто удивиться.

Неспособность удивляться в глазах Э. Лазара есть не маленькая слабость или недостаток, это великая беда, несчастье, сравнимое разве что со смертью. Ибо не удивляться каждодневно чуду жизни, солнцу, цветам, всему нерукотворному и рукотворному в мире означает уже по сути и не жить. Это означает, что полнота жизни, ее восторги и ужасы малопомалу тускнеют в привычной рутине, человек теряет себя, перестает ощущать самое природу («Пять, шесть, семь»).

Обычно Эрвин Лазар пишет о таких людях без сарказма, он даже улыбается им лукаво, и жалеет их, и очень хотел бы открыть им глаза. Капкан, сотворенный воображением мальчугана посреди корчмы, становится пробным камнем для взрослых: кто способен вернуться в детство, «попасться» в капкан, тот жив душою и светел, но кто перешагнет его равнодушно, не заметив, не обрадовавшись... да, этого можно разве что пожалеть («Капкан»). Только в рассказе «Фокусник» писатель закипает истинным гневом против чванливой, упоенной своим эфемерным всезнайством, равнодушно-самоуверенной толпы. Она видит чудесные превращения, совершаемые у нее на глазах, заранее согласная быть обманутой, одураченной, и единственная ее «мечта» — выведать пружины обмана, увериться собственными глазами, что обман он обман и есть, тут уж она и за денежками не постоит. Но тихий и скромный сосредоточенный человек на сцене, вдруг обидясь на пошлость этих тупых вымогателей тайн, предлагает безвозмездно показать свое мастерство, все как есть: не трюк, не обман — свое умение. Он-то знает: умение — высшее чудо. Но толпа обижена и разоча-

рована: она хочет быть обманутой! Так незатейливая эксцентрическая сценка оборачивается притчей, зовет поразмышлять о многом. Сказка — ложь, да в ней намек...

Горечью и печалью написана эта маленькая красноречивая новелла. Писателя не оставляет тревога: слишком часто приходится видеть, как слепота и глухота окружающих губят, сбивают с ног талант, бескорыстно ставящий себя на службу людям. Эта тема, сливаясь с темой вольного полета человеческой фантазии как некоей движущей силы, часто возникает в творчестве писателя. Она отчетливо слышна в рассказах «Большая птица», «Полоумный колодезник», во многих других. То поверженные, то побеждающие, фантасты и мечтатели Эрвина Лазара оказываются вовсе не чудаками не от мира сего — именно они болеют за «сей мир» всей своей открытой душой, именно они, не жалея себя, всегда готовы подставить плечо, твердо веря, что только усилие *каждого*, сколь бы ни было оно малым в отдельности, способно уберечь самое жизнь на земле. Не смейтесь же над «странными» людьми, окрыленными мечтой, говорит Эрвин Лазар своими рассказами-притчами, ведь это они приоткрывают завесу над завтрашним днем человечества, они, спотыкаясь не раз и не два о непонимание, равнодушие, эгоизм, вновь и вновь находят в себе силы служить людям — не таков ли и Прометей из рассказа «Огонь»?

Эрвин Лазар писатель светлый и радостный. Но Эрвин Лазар в то же время и «грустный Будда» — как назвал он один из своих сборников,— с печалью взирающий на «роботизацию» людей, почти добровольную, людей, которые бездумно рвут животворную пуповину, тем отдирая себя и от природы, и от собственного детства, этой удивительной поры, когда всё — сама правда и естественность, когда любой вымысел полнится пьянящими соками жизни, а жизнь увлекательна и так дивно богата надеждой... Вот с этим разным, но внутренне цельным Эрвином Лазаром, прекрасным венгерским писателем, мы и хотим познакомить советского читателя.

Елена Малыхина

Фокусник

Готовить гимнастическнй зал к представленню артнсты прннялись за час до начала. Сквозь окна, почтн достигавшие потолка, но давно не мытые и вдобавок затянутые проволочной сеткой, внутрь едва пробнвался тусклый серовато-голубой свет, хотя на улнце еще вовсю сияло солнце. Прншлось зажечь лампочкн, что свнсалн на длннных шнурах с невероятной высоты. Накрытые черными колпакамн, они разбрасывали вокруг скупые рассеянные лучн.

Работы хватало всем, в том чнсле и днректору. Один лншь фокусник сндел в центре зала на ветхом, заляпанном краской стуле н задумчиво курил. Худое лнцо его временамн подергивалось, и тогда на лбу и щеках проступалн морщины, выдавая внутреннее напряженне. Подумать, будто фокуснпк отлынивает от общей работы,— такое, похоже, ннкому вокруг и в голову не приходило. Даже в том, что сел он в самом неподходящем месте, посредн зала, никто не упрекнул его ни словом. Артисты молча обходили фокусника, сгнбаясь под тяжестью тумб, нз которых у дальней стены сооружали сцену, молча же волокли туда видавшне внды подкндные доскн.

В основном к представленню все уже было готово. Толстые канаты заткнулн за перекладнны шведской стенкн, а кольца, висевшне слншком низко, акробат с поразнтельной ловкостью — вместе с самнм собой — подтянул к лампочкам под черными колпакамн, закрепил нх там и по-кошачьн мягко спрыгнул с головокружнтельной высоты на пол.

В глубнне зала установили прожекторы — с виду простенькне, но необычайно яркне. Днректор включил нх, окннул взглядом засверкавшую в потоках света сцену и остался доволен. Осветнтель, который во время представленння должен был направлять мощный луч непосредственно на нспол-

нителей номеров, проверял шарниры прожектора. Световое пятно неправильной формы поползло по стене, затем перекочевало на потолок, где матово проступали фантастические фигуры — очевидно, следы просочившейся с крыши влаги.

Фокусник, подняв голову, наблюдал за движением яркого, чуть желтоватого эллипса. Вдруг он вскрикнул. Все, включая осветителя, встревоженно обернулись к нему, а некоторые даже приблизились, как бы ожидая его распоряжений. Луч прожектора освещал в это время угол потолка над сценой, и все посмотрели в том направлении, поскольку туда же указывал пальцем фокусник, но ничего особенного не увидели.

— Паутина,— едва слышно и как-то нерешительно произнес он, вставая со стула.

Роста он был невысокого, худая фигура вполне соответствовала его аскетическому лицу. В дешевой и не по размеру просторной одежке выглядел он довольно жалко и невзрачно. Непосвященному наверняка показалось бы странным, что перед таким человеком все склонились предупредительно и услужливо.

В углу действительно колыхалась рваная и почерневшая от пыли паутина. Фокусник не спеша прошел к тому месту, над которым висели только что подтянутые акробатом кольца, и, показав на них, спросил:

— Нельзя ли их?..

Акробат вскочил на скрещенные руки двух силачей-исполинов в трико, и те, как пушинку, подбросили его в воздух. Первая попытка, однако, не удалась. Юноша негромко крикнул атлетам, они отскочили в стороны, и он опять мягко, бесшумно и невредимо опустился на паркет. Со второго раза он сумел все же ухватиться за кольца, быстрыми и ловкими движениями освободил их, и через мгновение они уже качались над головами артистов, постукивая друг о друга и отбрасывая на стену причудливые тени.

Фокусник взял в правую руку половую щетку, левой, подпрыгнув, уцепился за одно из колец — ноги его теперь не касались пола — и принялся энергично раскачиваться.

Поначалу он лишь бессильно извивался, но затем рубашка на его спине стала все заметнее вздуваться и вскоре уже реяла на головокружительной скорости под утопавшим в сумраке потолком. Артисты следили за этим полетом, как следят за полетом теннисного шарика, кто одними глазами, кто вертя головой, а когда фокусник занес руку с половой щеткой, все затаили дыхание.

Раскачиваясь, он все приближался к затянутому паутиной углу, еще немного — и, казалось, достанет до нее. Лицо его исказилось от невероятного напряжения, было заметно, что левая рука уже еле выдерживает тяжесть тела. Взлетев наконец на оптимальную высоту, фокусник метнул щетку в угол. Наблюдавшие этот кульминационный момент от волнения даже ахнули, но паутина так и осталась висеть, удар пришелся на считанные миллиметры ниже.

Фокусник тотчас обмяк, скорость полета быстро погасла, он выпустил кольцо и неуклюже спрыгнул на пол. Стоявшие поблизости были уверены, что он упадет, и все же не бросились на помощь, однако фокусник кое-как удержался на ногах, вернулся к своему стулу и сел.

— Сорвать ее? — с готовностью предложил акробат.

Фокусник отрицательно покачал головой. И вдруг в зале стало необыкновенно тихо, еще тише, чем прежде. Все смотрели в освещенный слепящим лучом прожектора угол. Паутины там не было. Некоторым даже показалось, что ее там не было никогда, хотя только что они сами явились свидетелями попытки сорвать ее и сами же от волнения ахнули, когда попытка окончилась неудачей.

Внезапно все вокруг снова пришло в движение. В дверях появились первые зрители. Артисты поспешно расставили стулья, акробат заново подтянул кольца, осветитель погасил прожекторы.

Вновь они вспыхнули, лишь когда пришла пора начинать и директор в поношенном фраке с обтрепанными рукавами поднялся на сцену, чтобы поприветствовать публику. Представление шло обычным порядком — все номера, даже не-

обычайно ловкие трюки юного акробата, были не более чем гарниром к основному блюду. Публика ждала выхода фокусника.

И этот момент настал. Фокусник, заметно волнуясь, прошел в центр сцены и остановился перед столиком, накрытым низко свисавшей скатертью. В отличие от большинства своих коллег, работал он практически молча и почти не комментировал даже самые поразительные из трюков. По-праздничному одетые жители провинциального городка, раскрыв от удивления рты, следили за происходившими у них на глазах превращениями, исчезновениями и возникновениями, время от времени оглашая зал восторженными восклицаниями и разражаясь бурными аплодисментами; но эти аплодисменты не шли ни в какое сравнение с той громоподобной овацией, какую обычно вызывал главный номер: превращение кролика в тигра.

Этого ждали все, и хотя фокусник не объявлял свои номера, после одного из них в зале вдруг наступила мертвая тишина. Даже артисты всей труппой столпились в дверях, дрожа от волнения и не замечая выступившего на лицах пота. Фокусник между тем набросил поверх скатерти черное покрывало и, чуть помедлив, резким движением сорвал его. На столике, который буквально только что был пуст, сидел кролик. Послышались смех и аплодисменты, но тотчас затихли, поскольку действие продолжалось. Фокусник (реакция публики его, казалось, не интересовала, и он ни разу даже не поклонился ей) накинул на кролика все то же черное покрывало и — не успело оно окончательно опуститься — снова сорвал. На месте кролика, угрожающе скаля зубы, восседал теперь солидных размеров тигр.

В первых рядах вскрикнули, ибо публику от сцены отделяло всего несколько метров, а никакого ограждения не было. Но фокусник уже накрыл хищника покрывалом, оно медленно опустилось, и когда он снова поднял его, под ним не оказалось ничего, кроме скатерти. Когда же фокусник сорвал и ее, глазам зрителей предстал обычный некрашеный столик о трех ножках.

Как и следовало ожидать, публика разразилась неистовыми и несмолкающими рукоплесканиями. Фокусник застелил столик скатертью, чтобы повторить номер.

Тем временем зрители, возбужденно перешептываясь, пытались угадать, как это фокусник ухитряется проделывать подобные штуки. Ни одно из предположений не казалось им достаточно вероятным. Ведь если кролика еще можно было бы как-нибудь спрятать за свисавшей со стола скатертью, то уж тигра — никак. Большинство, однако, настаивало, что спрятать можно, хотя и в этом случае оставалось загадкой, куда исчезли оба зверя в самом конце, когда фокусник сорвал со стола скатерть, которая, кстати, и так не доставала до пола.

Шепот затих лишь после того, как на столике, забавно шевеля длинными ушами, вновь возник кролик. Когда и дальше все в точности повторилось, в зале поднялся невообразимый гам, но тут из первого ряда с решительным видом встал со вкусом одетый рослый мужчина, и публика тотчас умолкла. Выражаясь несколько пространно и манерно, мужчина сообщил, что состоит учителем физики в местной средней школе, той самой, в гимнастическом зале которой проходит теперь представление, и что руководство школы лишь потому разрешило артистам выступить в этих стенах, что много наслышано о маэстро (он так и выразился: маэстро!), и что буквально весь город заинтригован невероятным номером, лично же он, как человек, имеющий дело с естественными науками и философией, особенно; причем движет им отнюдь не вульгарное любопытство, а интерес более возвышенный, что, впрочем, всеми уважаемому маэстро объяснять, вероятно, не надо. Узнав секрет трюка (при слове «трюк» фокусника затрясло как в лихорадке), жители города, разумеется, в долгу не останутся. С помощью ряда местных учреждений и общественных органов они собрали весьма значительную сумму, каковую и готовы выплатить маэстро немедленно, как только он откроет тайну номера.

Не успел он договорить, как на сцену, отчаянно размахивая руками, взбежал директор и, попросив тишины, принял-

ся горячо объяснять, что ни о чем подобном не может быть речи и фокусник ни в коем случае не приподнимет завесу тайны над своим номером. Маэстро между тем задумчиво стоял рядом с директором, лицо его раскраснелось, на лбу поблескивали капельки пота. Он отстранил рукой директора, который все еще кричал и жестикулировал, и сказал:

— Я могу открыть тайну и даром.

Директор теперь уже повернулся к нему и, не обращая внимания на публику, стал увещевать его — с мольбой, а затем и с угрозой в голосе он говорил о будущем труппы, о каких-то не очень понятных зрителям вещах, касающихся, очевидно, личных отношений, и, наконец, о том огромном ущербе, какой нанесло бы всем раскрытие тайны фокуса.

Фокусник, однако, словно и не замечал его, публика же поноси́ла директора на чем свет стоит. Он еще некоторое время протестующе размахивал руками и, быть может, даже что-то кричал, но за несмолкаемым свистом никто его не слышал. В конце концов глава труппы вынужден был как побитая собака ретироваться со сцены.

И тут лицо фокусника, все усеянное капельками пота, вдруг озарилось. В зале воцарилась мертвая тишина, и маэстро с воодушевлением произнес:

— Никакого трюка нет.

— Как это нет? — спросил учитель физики.

— Просто нет. Я на самом деле превращаю кролика в тигра.

Публика встретила эти слова гулом одобрения. Кто-то воскликнул: «Ну и шутник!» Все ожидали, что фокусник тоже улыбнется, но не тут-то было: он просто взял и повторил номер — на столике без скатерти. Однако и этого оказалось мало, чтобы убедить публику. Тогда фокусник вскинул трясущиеся от напряжения руки и сказал:

— Ну так смотрите без покрывала!

Все придвинули стулья поближе к сцене и вытянули шеи. У одних от страха по спине побежали мурашки, другие мысленно клялись во что бы то ни стало раскусить хитрый трюк, а уж там будь что будет.

Маэстро встал метрах в двух-трех от совершенно голого столика, закрыл глаза, сосредоточился, и несколько мгновений спустя на столе возник кролик. Как произошло его превращение, никто не заметил, все лишь увидели, что там, где только что сидел длинноухий, уже сидит тигр.

Заполнившую зал тишину нарушил учитель физики:

— Суггестия!

— Вот именно, массовое внушение! — облегченно поддержали его остальные.

Фокусник стоял, стиснув зубы, лицо его исказила гримаса боли. Он воздел руки к небу и закричал:

— Да поймите же, здесь нет никакого обмана! Просто я умею это делать!

В его голосе смешались отчаяние и мольба.

— Это как трюк факира,— произнес мужчина из заднего ряда.

Сидевшие по соседству стали расспрашивать его, что это за трюк факира, и он скороговоркой, но достаточно громко, чтобы мог слышать весь зал, рассказал, как в Индии некоторые факиры подбрасывают в воздух толстую веревку, она становится жесткой, как шест, и тогда по ней взбирается мальчик, а следом за ним с кинжалом в зубах и сам факир; наверху он изрубает мальчика в куски, складывает их в корзину, затем на глазах у ошарашенной публики спускается, веревка спадает на землю, а мальчик выпрыгивает из корзины живой и невредимый. Янки однажды взяли да засняли все это на кинопленку, но когда проявили, ничего подобного на ней не увидели: мальчик и факир просто стояли себе перед публикой, взявшись за руки, а рядом стояла корзина.

— И мы заснимем! — воскликнул учитель физики и, повернувшись к фокуснику, вежливо спросил: — Вы не против?

Фокусник согласно кивнул. Пока несколько членов школьного кинокружка бегали за камерой, он, устало ссутулившись, стоял на сцене, и аскетическое лицо его выражало глубочайшую печаль.

Он повторил номер перед кинокамерой, затем — пока мальчики проявляли в лаборатории пленку — повторил по просьбе зрителей и еще раз, уже не на сцене, а в зале, между рядами стульев, в самой гуще народа.

Вернулись мальчики с пленкой.

— Есть! Есть!..— кричали они на бегу.

Но никто не хотел им верить. Неприязнь — вот что теперь ощущали зрители, все как один. И когда на экране замелькали кадры, запечатлевшие номер во всех подробностях, разочарованная и несколько напуганная публика повскакала с мест и хлынула к выходу. Лишь на улице кто-то, осмелев, бросил с презрением:

— Каков мерзавец!

Директор стоял в дверях и пытался остановить зрителей, ведь впереди было еще целых два выступления, но никто не слушал его. Никто попросту не хотел его знать.

Фокусник снова сидел в центре зала. Руки его устало повисли, и весь он стал похож на груду тряпья. Вокруг артисты двигали стулья. Осветитель — то ли намеренно, то ли случайно — направил луч прожектора в угол, откуда перед началом представления фокусник пытался сорвать паутину. Она опять была там, и это увидели все. Осветитель поспешно выключил прожекторы.

После ярких лучей зал, освещенный только свисавшими с потолка лампами, показался на удивление сумрачным. Все стулья артисты уже сдвинули в сторону и, разобрав сцену, стали перетаскивать к выходу тяжеленные тумбы. Теперь, однако, обходить фокусника никто не желал, и директор раздраженным тоном приказал ему убраться с дороги. Фокусник покорно встал. Перенес стул к шведской стенке, покачиваясь, словно на него давила невероятная тяжесть, и, скрючившись, примостился на краешке.

Огонь

— Ну, наконец-то,— промолвил гриф, выпуская печень Прометея.

Герой вздохнул — за тысячи лет это был первый миг без страдания — и, гремя цепями, размял затекшие члены.

— Срок наказания истек? — спросил он.

Гриф дернул плечом:

— Как бы не так! Просто незачем с тобой больше возиться. Огня на Земле уже нет!

Узник в ярости рванулся к нему, но цепи, натянувшись, отбросили его назад.

— Ты лжешь, собака! — потрясая кулаками, закричал он.

— Я не собака. Я гриф,— равнодушно сказала огромная птица и расправила крылья, пробуя, не ослабели ли они за тысячи лет вынужденного бездействия.

Гнев Прометея не утихал.

— Делай, что тебе велено! — крикнул он грифу.— Терзай мою печень!

— Нашел дурака! — возмутился гриф.— Ты что, не понял? Огня на Земле уже нет!

— Уж не хочешь ли ты сказать, что боги уничтожили всех людей до последнего?

— Черта с два! — в сердцах махнул крылом гриф.— Их больше, чем было.

Прометей успокоился.

— Без огня не может быть жизни,— твердо сказал он.— Так что давай принимайся за дело!

— Да пойми же, огня больше нет! Люди даже не знают, что это такое. Он им просто не нужен.

— Неправда! — воскликнул герой.— Без огня им не приготовить еду, не согреться зимой, не найти дорогу в ночи.

— Чепуха,— возразил гриф.— Готовят они на плите, греются от центрального отопления, а свет у них искусственный.

— Допустим. Но что горит под плитой? Что питает теплом батареи? Что порождает искусственный свет? Огонь!

— Не огонь! Если хочешь, так знай: это делает атом. Нажимаешь на кнопку, и вот тебе свет, вот тепло. И ни дыма, ни пламени, ни треска поленьев. Гораздо чище и безопаснее!

Нахмурившись, Прометей ненадолго умолк, затем лицо его озарилось.

— А поджоги? А войны?

— Они воюют лучами,— ответил гриф.— Хорошенький такой лучик, невидимый; направляешь его куда надо, и все обращается в прах — дом, город, страна... Ни взрывов, ни дыма, одна лишь стерильная пыль. А поджоги — дело прошлое и забытое. Пожарных команд давно нет, нет даже добровольных дружин. Прошла их пора. Теперь вершат службу добровольцы противолучевой охраны.

— А костры? — снова с надеждой спросил Прометей.— Костры скитальцев, путников, отдыхающих?..

Гриф с досадой махнул крылом:

— И в помине нет. За ничтожную цену в любом магазине на выбор искусственные костры. Свет и тепло высшей марки с гарантией. Не надо собирать сучья, раздувать пламя, обжигать пальцы... Нажал кнопку — и все. Да к тому же они многоразового пользования.

— Неправда! — взревел Прометей, и скалы откликнулись эхом: «Неправда!.. Неправда!..»

— Ишь разнервничался,— проворчал гриф.— Идем, сам увидишь.

Они побрели азиатскими селениями, африканскими джунглями, бесконечно огромными городами — гриф и бряцающий оковами обнаженный мужчина. Люди повсюду смотрели на них с удивлением. Хм... В Южной Америке некий цирк предложил им контракт на прекрасных условиях. В Австралии их оштрафовали за безнравственное поведение — ведь Прометей был совершенно гол, а в Европе — за нарушение тишины, потому что цепи его ужасно гремели.

Огня люди не знали. «Что это?» — спрашивал всякий и непонимающе тряс головой. Tűz, fire, огонь, Feuer... Нет, и слова такого не слышали.

— Хе-хе,— посмеивался гриф, Прометей же в отчаянии только бряцал цепями.

В одном древнем приморском городе им повстречался старик.

— Давай и у него спросим,— взмолился Прометей.

Гриф согласно кивнул.

— Огонь?..— повторил старик непривычное слово, и в глазах его вспыхнула искорка воспоминаний.— Это там, в большом доме!

Гриф едва поспевал за Прометеем.

Фронтон огромного обветшалого здания поддерживали колонны из железобетона. На фасаде белела полустершаяся, выгоревшая надпись:

МУЗЕЙ ОГНЯ

— Вот он! — закричал Прометей.— Смотри!

— Ну-ну,— буркнул гриф.

Двери, снабженные фотоэлементами, бесшумно раздвинулись. Миновав длинный и мрачный коридор, заваленный керосиновыми лампами, свечными огарками, решетками каминов, они очутились в просторном зале со множеством витрин. Прометей радостно бросился к первой из них и приник лицом к стеклу. «Костер» — значилось на табличке. Внутри большерогий бык и опершийся на палку человек в шляпе и сапогах не отрываясь смотрели на пламя костра.

— Огонь! — воскликнул счастливый Прометей.

— Нарисованный,— бросил гриф.

Прометей приставил ладони к лицу, пригляделся и обмер. Огонь действительно был не живой, а человек и бык оказались восковыми фигурами.

Прометей заметался от витрины к витрине. Очаг, камин, бивачный костер, пожар, кузнечный горн, фитиль...

— Нарисованный... Электрический... Киноварь... Оптический обман...— со знанием дела комментировал гриф.

Пока они осматривали зал, волосы у Прометея стали седыми.

— Еще там! — крикнул он.

В углу стоял небольшой стеклянный колпак, какими бакалейщики накрывают дрожжи. Рядом табличка: «Огонь души». Под колпаком не было ничего.

Гриф хрипло расхохотался.

И тогда Прометей вскинул голову, стиснул зубы, и подбородок его будто окаменел. Он решил снова отправиться в царство богов и похитить огонь.

Когда они вышли, гриф сказал на прощание:

— Знаю, ты хочешь опять украсть его.— Он язвительно рассмеялся.— Только скажи: чего ради? Печень твоя и без того как молотый мак!

Но Прометей той же ночью снова похитил огонь. Словно призрак мчался он по земле, сжимая в руке пылающий факел. И при виде его люди в радостном изумлении восклицали:

— Огонь!..

Большая птица

Дорогу из Гармоша в Иврен я знал не хуже, чем собственную ладонь. Правда, с тех пор, как я был в тех краях в последний раз, минул добрый десяток лет, но в прежние времена мне частенько случалось и трижды за день отмеривать те восемь километров по проселку.

Я был уверен — ничто не могло измениться здесь за прошедшие десять лет. Разве что крохотная, с ладошку величиной, акациевая роща чуточку постарела, пастбища же, искромсанные старицами речушки Шед и вечно сырые, сохранили свой прежний вид, как и бесплодные песчаные холмы. Отчасти затем, чтобы вновь повидаться с ними, я и отправился в путь.

Все здесь я помнил по именам. С точностью до метра мог показать, где Ведьмина горка переходнт в Крестовое поле, где оно кончается и начннается Воловья стоянка. Дорога обещала немало приятных минут, когда можно шагать, погрузнвшись в раздумья и не встречаясь нн с кем, кроме старых деревьев и с детства знакомых нзгибов проселка, всем существом своим ощущая, что здесь н высота небосвода все та же. Такая дорога способна очищать душу.

Между Гармошем и Ивреном нет ни селенний, ни хуторов. Поэтому, выйдя к Чётёньской пашне, я решил, что сбился с пути: у подножия холма, круто сбегавшего к реке, вднелся старый домишко с соломенной крышей. В состоянин он пребывал довольно плачевном н, казалось, давно бы рухнул, не подпирай его сбоку склон холма.

Прежде я этого дома не видел, и в Гармоше мне никто не сказал, будто здесь что-то построили. Да я, пожалуй, и не поверил бы: кому могло прийти в голову строиться в этом болотистом месте, весной и осенью затопляемом водой! Тем не менее дом стоял себе в двух шагах от проселка, нз трубы его весело поднимался дымок, и хотя вокруг не было ни души, чувствовалось, что внутри кипит жнзнь. На изгнбе дороги я увидел н двор. Там стояли две крестьянские телеги; запряженные лошади жевалн сено. Теперь я почтн был уверен, что заблудился. Дом совершенно естественно вписывался в окружающий его пейзаж и выглядел по меньшей мере столетним, а значит, должен был стоять здесь н десять лет назад.

Я обернулся. Передо мной лежала только что пройденная дорога. Нет, с пути я не сбился. Несколько оробев, я повернулся обратно в тайной надежде, что за это время исчезлн и странная хижина, и лошади, жующие на задворках сено.

Как будто и впрямь целый дом может вот так, ни с того нн с сего, улетучиться.

Решнв было пройти мимо, я обреченно озирался по сторонам в поисках собак, мысленно прикидывая, как бы стал от них защищаться, но тут заметнл над входом внушитель-

ных размеров зеленую вывеску с ярко выделявшимися на ней белыми буквами:

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «БОЛЬШАЯ ПТИЦА»

Все еще опасаясь собак, я направился к дому. В сущности, бояться теперь было нечего, известно же, что собаки, живущие при постоялых дворах, не кусаются. Впрочем, их все равно не было видно.

Я открыл почерневшую от времени дверь и вошел. Тогда мне почему-то не показалось странным, что, хотя на дворе еще вовсю сияло солнце, внутри горела подвешенная к потолку керосиновая лампа. Пол в комнатушке был земляной, стены — бревенчатые. Имелось и три окна, тем не менее горящую лампу я воспринял как нечто само собой разумеющееся.

На приветствие мое никто не ответил. Корчмарь в белом переднике, сложа руки стоявший за стойкой, посмотрел куда-то поверх моей головы.

За простыми столами со сколоченными крест-накрест ножками теснилось человек пятнадцать—двадцать, только мужчины; в самой глубине комнаты, спиной к остальным, за отдельным столом одиноко сидел человек.

Никто даже не взглянул в мою сторону. От этого мне стало не по себе, и на мгновение я остановился как вкопанный. (Кому не знакомы хищные взгляды деревенских гуляк, какими они смотрят на чужака!) Но и то, что я замер на месте, не заставило их обратить на меня внимание. В надежде встретить знакомого я хотел было разглядеть их получше, но при виде первого же профиля меня охватило какое-то необъяснимое чувство стыда, как будто смотреть этим людям в глаза означало самым бессовестным образом вмешиваться в их личную жизнь. Я тотчас отвернулся и хотя успел увидеть лишь одно-единственное лицо, понял, что знакомого мне здесь не встретить.

Я прошел к самому дальнему столу: возле одиноко сидевшего мужчины места было достаточно.

Держаться я старался непринужденно, но и сам чувство-

вал, что движения мои неуклюжи, как и короткий кивок вместо приветствия.

— Вы позволите?

Как только я это произнес, монотонное жужжание голосов оборвалось. Корчму заполнила гнетущая тишина.

Собрав все силы, я посмотрел на сидевшего передо мной мужчину, но ничего по его виду не понял, а только почувствовал, как в спину мне впились колючие взгляды.

Мужчина в замешательстве, если не в панике, кивнул и при этом отодвинулся подальше, хотя на длинной скамье рядом с ним вполне уместились бы еще трое.

Я сел. Краешком глаза я видел белое пятно передника корчмаря и заметил, как оно двинулось в мою сторону. Тотчас, словно по сигналу, тишина сменилась прежним приглушенным жужжанием.

Корчмарь подошел, и я раньше почувствовал, чем увидел, какой это был исполин. Взгляд мой медленно поднялся к его рукам, сложенным на могучей, размером с кузнечные мехи, груди, затем — к лицу. Оно поразило меня. Уму непостижимо, как мог я сразу, еще с порога, не заметить красоту этого будто вытесанного из каменной глыбы лица, почему разглядел ее только теперь, когда здоровяк корчмарь стоял в двух шагах от меня. Я не слишком-то чувствителен к мужской красоте, но подобного лица, привлекательного своей странной смесью грубости и утонченности, мне еще видеть не доводилось.

Голос его был под стать фигуре. Казалось, я не ушами, а резонирующими костями слышу его хрипловатый бас.

— Вы нездешний?

Тон его не был враждебным; скорее, своим вопросом он как бы избавлял меня от какого-то бремени или по крайней мере извинял за некую совершенную мной грубую ошибку.

Я молча кивнул и, словно зачарованный, не отрывал от него глаз.

— Есть будете или пить? — вновь раздалось у меня в костях.

— Когда построили этот постоялый двор? — спросил я вместо ответа.

— Давно,— сказал он и, заметив мой изумленный взгляд, добавил: — Очень давно.

В голосе его теперь слышалось раздражение, ему явно не хотелось затрагивать эту тему.

— Один фрёч*,— поспешно сказал я.

— У меня только чистое вино.

— Тогда чистого.

Внезапно я услышал робкий, умоляющий шепот, тихий, как мышиный писк:

— И мне.

Я обернулся к своему соседу, но он сидел, отодвинувшись к самому краю скамьи, и не глядел в мою сторону. Тем не менее шепот мог исходить только от него, потому что корчмарь с заметным пренебрежением спросил:

— И ему?

В корчме вдруг опять стало тихо, и я снова почувствовал, что все смотрят мне в спину. Я медленно перевел взгляд с корчмаря на соседа. Он сидел сгорбившись, и было заметно, как мышцы его судорожно напряглись, будто от моего ответа зависела его жизнь.

— И ему,— дрогнувшим голосом сказал я.

Корчмарь кивнул, и в комнате вновь стало шумно. Сосед облегченно вздохнул, мышцы его расслабились, но на меня он так и не посмотрел.

Минуты не прошло, как вино уже было на столе. Корчмарь принес его в каком-то диковинном, похожем на античный, кувшине, обожженном до черноты, а рядом поставил пару обычных трактирных стаканов.

— Может, съедите чего? — дружелюбно спросил он.

— Если холодное, то лучше уж не надо,— сказал я, наполняя оба стакана до краев тягучим янтарным вином.

— Есть дичь, рыба,— предложил корчмарь.— Что прикажете?

* Внно, разбавленное водой. (*Здесь и далее примечания переводчиков.*)

— Времени у меня мало, спешу.

— Через пять минут все будет готово,— улыбнулся он.

От этой улыбки на душе у меня сразу сделалось весело, и я подумал, что не прощу себе, если уйду, так и не отведав здешней кухни.

— А рыба у вас какая?

— Любая, что водится в Шеде.

— И карликовый сом?

— Сколько угодно.

— Ну, разве что его...

Корчмарь тотчас исчез.

Один из стаканов я подвинул соседу.

— Ваше здоровье,— сказал я, поднимая свой, и с удивлением заметил, что обращаюсь к нему вроде как свысока.

Он жадно схватил стакан, обернулся, и я впервые мог разглядеть его. Это был тщедушный мужичок с рыжеватыми волосами. Кожа на его морщинистом лице повсюду, за исключением выпуклых желваков, намертво прилипла к кости; всю правую половину лица ему когда-то давно обожгло взорвавшимся порохом, и теперь она была усеяна черными крапинками и свищами, особенно густо теснившимися на лбу и вокруг глаза. Одна из крупинок попала в глазной белок и чернела там, вызывая одновременно жалость и страх.

— Лайош Радам,— представился он.— Спасибо.— И залпом выпил.

Фамилия показалась мне странной*, но вниманием моим в тот момент целиком завладел янтарный напиток. Скажи кто-нибудь прежде, что лучшее в своей жизни вино мне доведется пить в каком-то захолустье, я бы поднял того человека на смех. Теперь, однако, его очередь посмеяться, ибо здесь, в захолустье, в этой самой что ни на есть завалящей корчме, я пил лучшее в своей жизни вино.

— Колоссально! — восторженно заметил я, обращаясь к Лайошу Радаму.

* «Радам» — при обратном прочтении образует венгерское слово «мадар» — «птица».

— Да, вино здесь хорошее,— сказал он и обеими руками вцепился в стакан, будто боялся, что его отберут.

Хлопнула дверь, послышались гулкие шаги корчмаря, и тотчас в нос мне ударил аппетитный запах жареной рыбы. Корчмарь поставил ее передо мной на серебряном блюде размером с противень. Столовый прибор он не принес.

— Ешьте руками,— посоветовал он.— Так лучше всего. Я вообще страсть как люблю карликового сома, но такого вкусного, как этот, еще не пробовал.

— Кто здесь готовит? — спросил я Лайоша Радама.

— Его жена. Вам бы еще попробовать спинку косули... Э-эх, объедение! — сказал он и прищелкнул языком.

— Вы голодны? — Я непроизвольно подвинул блюдо к нему.

— Нет-нет,— испуганно запротестовал он, прижав руки к груди и опасливо озираясь, будто нарушил какой-то запрет.

Глубоко запустив пальцы в мякоть, я отделил ее от хребта и как бы между прочим спросил:

— Вас почему здесь не любят?

Реакция его была странной: он улыбнулся. Я же подумал о том, что определить его возраст по внешности практически невозможно. Это иссохшее и изборожденное глубокими морщинами лицо с равной вероятностью могло принадлежать как семидесятилетнему, так и сорокалетнему мужчине.

— Знаете, кто такой пастушок? — спросил он.

— В каком смысле?

— Ну вот, не знаете. Птица такая.

— Не слышал.

— А любите птиц?

— Хм... Как деревья, как лошадей. Не больше.

— Ну да... Золотистую щурку видели?

— Кого?

— Золотистую щурку.

— Тоже птица?

— Да.

— Нет, вряд ли. Или если и видел, то не знал, что это она.

— А черную крачку?

— Тоже.

Он отвернулся и долго смотрел в стену, а когда снова взглянул на меня, глаза его выражали бесконечную скорбь.

— Я, знаете ли, любую птицу по полету узнавал. Какую угодно.

— Да... Это здорово,— как-то неловко закивал я.

Глаза его вдруг сузились, стали совсем как щелочки, и, не обратив никакого внимания на мои слова, он спросил:

— Читали в газете?

— О чем?

— О большой птице.

Я в недоумении уставился на него.

— А ведь о ней писали. Говорят, даже за границей.

Покончив с последним сомиком, я вытер пальцы о брюки. Радам придвинул ко мне свой стакан, и я машинально наполнил оба. Он с жадностью выпил.

— Говорят, первым ее увидел какой-то мальчишка из Гармоша. Он в Шеде купался, вдруг смотрит — падает в реку огромная птица. Распростертые крылья шире, чем Шед.

— Не может быть,— возразил я.

— Да что вы...— Радам раздраженно махнул рукой.— Почему сразу «не может быть»? На другой день свинопас из Сикоро тоже рассказывал, что видел какую-то очень большую птицу. Правда, издалека. Он у Старого колодца стоял, а она над Ведьминой горкой летала. Знаете, где это?

Я кивнул.

— Ну, а на третий день я и сам ее увидел. Страсть как высоко кружила и крыльями не махала, но мне и этого было достаточно, чтобы понять: такой птицы я еще никогда не встречал. Я, знаете ли, смотрителем на плотине, забот у меня немного, а с того дня я только и делал, что птицу эту выслеживал. Никак не удавалось ее вблизи посмотреть: то она слишком уж высоко, то низко, но далеко. Узнали о птице и в орнитологическом институте. Не от меня, это

точно, я-то о ней никому не рассказывал. Наоборот, отрицал даже, что есть такая. Если кто о ней заговаривал — а видели многие,— я только смеялся: сказки, мол, это. Но про себя-то знал, что не сказки. Хотел на гнездо ее набрести, да никак все не удавалось. Потом приехал из птичьего института тощий такой ученый в очках, стал меня спрашивать, видел ли я эту птицу. Какое там, говорю, никогда не видал. Но он все равно с неделю здесь проторчал. Однажды вечером увидел-таки ее — далеко, правда,— и заявляет: белоголовый сип. Редко, но залетает сюда и он, да только никакой это был не белоголовый сип! Потом этого ученого, видно, совесть заела, и он уже с целой комиссией снова к нам заявился. С фотоаппаратом, биноклем, еще со всякими штуками. Тогда о птице уже и газеты писали, почему я и думал, что вы читали. Короче, комиссия целый день пялилась на небо, а назавтра пришло известие, что какую-то огромную птицу видели километрах в трехстах отсюда. Ну, комиссия, ясное дело, в машину, потому что кто ж там мог быть, если не наша птица,— и за ней. Да только на другой день она объявилась уже в пятистах километрах оттуда.

Я стал что-то припоминать.

— Постой-ка! Они еще самолет наняли, да?..

— Ну вот, видите...

— ...А когда птица его заметила, тут же спикировала и укрылась в лесу.

— Точно. Тогда ведь всю страну как в лихорадке трясло. Да и заграницу тоже. К нам даже один чернокожий орнитолог приезжал.

— Но птицу-то и сфотографировать ни разу не удалось,— перебил я.

— Конечно, нет! — воскликнул Радам почти с гордостью, но тотчас осекся и испуганно вобрал голову в плечи, словно кричать так громко ему здесь не дозволялось.— Потом все утихло, орнитологи по домам разъехались. Сошлись на том, что все-таки это белоголовый сип к нам залетел. Я тоже примерно с месяц ту птицу не видел, а однажды она опять

появилась, да так высоко, что с земли меиьше комара казалась. Соорудил я себе укрытие в зарослях камыша и стал поджидать. Была там при мне и виитовка.

— Подстрелили?

Он иеприязиеиио посмотрел на меня, и чериое пятнышко в глазу как будто сверкиуло.

— Тогда уже осеиь была в разгаре, продрог я порядком. Вдруг вижу, сиижается она. Не мог больше терпеть. По сей день ие пойму, как я в иее попал, ведь далеко было да и руки тряслись. Помню, мелькиули в оптическом прицеле крылья... Даже когда выстрелил, еще иадеялся, что промахнусь...

— Попали?

— Попал. Падала оиа камием, а я тогда только и разглядел, хотя крылья и сложены были, какая оиа преогромиая. На Каплаиьошский луг упала, трясииа там, сами зиаете. Я место засек и стал туда пробираться. Ил холодиый, чуть ие по пояс, иесколько часов шел. Накоиец вижу — краснеет что-то. Оказалось, крыло. Огромное оио было, иу, с чем бы сравиить... В общем, иесколько метров в длииу. Я от радости закричал даже — и вприпрыжку по кочкам. Взял ее за крыло — такого необыкиовенио красного цвета я и ие видывал — и перевериул иа спину...

Он замолчал.

— Ну и?..

Взгляд его вдруг стал безумиым, он схватил меия за руку.

— Это была ие птица. Человек это был, с крыльями! Поиимаете? Остеклеиевшими глазами иа меня смотрел красивый юноша. Пытался я его в чувство привести, да только иапрасио. Пуля прямо в сердце вошла.

Я вскочил. Но скамья стояла так близко к столу, что я ие мог выпрямиться.

Лицо Лайоша Радама сделалось злым, ои ие выпускал мою руку.

— И у иего иа шее цепочка была, а иа ией медальон с иадписью: «Икар».

Он расхохотался и закричал во весь голос:

— Икар!..

Я вырвал руку, перешагнул через скамью и подошел к стойке.

— Сколько с меня?

— Нисколько,— ответил корчмарь.— Вы наш гость.— Он окинул взглядом свое заведение и горько улыбнулся.

Я вышел не попрощавшись, но оставшиеся хором крикнули мне вслед: «Счастливого пути!» Они будто посвящали меня в друзья.

Уже стемнело. До Иврена я добрался почти бегом. Там у меня друг агрономом работает, к нему я и шел.

— Где тебя столько времени черти носили? — спросил он.

— Послушай, когда построили постоялый двор у Чётёньского холма?

— У Чётёньского холма? Постоялый двор? Да ты с ума сошел! — рассмеялся он.

— Там корчмарь такой высокий, прямо красавец.

— Разыгрывай кого-нибудь другого. Я каждый день там бываю. Нет у холма никакого постоялого двора.

Я чувствовал себя так, будто грудь мою сдавили цепями.

— Ты знаешь человека по имени Лайош Радам?

— Да, это смотритель плотины.

— У него лицо справа в ожогах.

— Да.

— Он однажды подстрелил гигантскую птицу с красными крыльями.

— Об этом не слышал. Впрочем, и не бывает никаких таких гигантских птиц с красными крыльями. Брось валять дурака, идем есть.

— Я уже ел.

— Где?

— По дороге.

Украдкой я то и дело поглядывал на свои пальцы, все еще жирные, а во рту ощущал аромат того удивительного вина.

Бедняга Икар! Пристрелили тебя как собаку.

Воробей в Сердце Иисусовом

1

Бледнолицый жил у тетушки Тэты в дальнем конце Будайского проспекта, где в него вливаются улицы Газ и Лёвёльде. Каждый день под вечер он играл с соседом-парикмахером в футбол в узком, залитом бетоном дворе. Бледнолицый получал обычно шесть очков форы — били только головой,— но выигрывал все-таки редко: парикмахер играл хорошо, с азартом. Его ворота всегда были ближе к улице, оттуда ему было виднее, если в его парикмахерскую заходил вдруг клиент. Когда Бледнолицый забивал ему гол, жестяные ворота глухо ухали — мяч был мягковат, иногда одной сторонкой втягивался внутрь, они тогда вставляли в него соломинку и поддували воздух.

Еще парикмахер умел играть на банджо.

В глубине двор чуть-чуть расширялся. Там стоял еще дом, в котором жил Фаркаш, машинист паровоза,— на работу он уходил обычно с большой кожаной сумкой; она напоминала докторский саквояж, только была больше и очень грязная, но замок точь-в-точь такой же. Возвращался Фаркаш усталый, и сумка всегда была претяжелая.

Тетя Тэта, тетушка Бледнолицего, говорила: и правильно делает, у железнодорожной компании угля хватает.

Вообще-то он был вовсе не Бледнолицый, а Воробей, хотя и Воробей ненастоящее его имя. Но так уж его звали.

Воробьем его прозвал отец, у отца были необыкновенные голубые глаза. Как чистое-чистое небо. А иногда становились как сталь.

Когда отец уходил, Воробей чуть-чуть не заревел. К счастью, отец взглянул на него, улыбнулся и сказал:

— Ты ведь не задашь реву, Воробей, правда?

— Нет,— сказал Воробей.

Но все-таки ночью поревел немножко, накрывшись с головой одеялом.

Недели через две после этого во двор упала стрела. Воробей сразу заметил, что к шарику из бузины прикреплена записка.

В записке значилось:

ТРЕПЕЩИ, ПРЕЗРЕННЫЙ БЛЕДНОЛИЦЫЙ!
МЕСТЬ ДЕЛАВАРОВ НАСТИГНЕТ ТЕБЯ!

Воробей зашел в загончик для кур — тетя Тэта отгородила проволокой маленький уголок в конце двора,— задней стенкой курятника служил дощатый забор, отделявший их двор от соседского. Тамошний дом выходил на улицу Газ, Воробей и прежде заглядывал в чужой двор, густо заросший репейником и диким пыреем, но до сих пор он зиял унылым запустением. Воробью двор понравился, он даже решил про себя, что однажды перелезет через забор и все там осмотрит.

Он поставил два кирпича один на другой, встал на них и осторожно оглядел сад. Там царила полная тишина, однако было в ней что-то тревожное. Воробей знал: такая тишина обычно укрывает притаившихся врагов.

Он встал на цыпочки, чтобы лучше видеть, кирпичи выскользнули из-под ног, однако Воробей не упал, повис на руках. И тут бурьянное море ожило, из зарослей пырея и чертополоха выскочили индейцы в головных уборах из перьев и, завывая, ринулись к забору; Воробей тотчас узнал двоих — Гашпара Узона и Райковича. В школе, то есть гимназии, Райкович сидел рядом с ним.

— Умри, презренный Бледнолицый! — вопил Райкович.

У Воробья устали руки, и он соскользнул вниз.

Из-за забора было отлично слышно, о чем совещались делавары: речь шла о его скальпе и еще о том, что трусишка Бледнолицый позорно бежал.

Воробей опять сложил кирпичи и взобрался повыше. Делавары этого не ожидали, на секунду стало тихо.

Кирпичи и на этот раз развалились, Воробей, как и прежде, повис на вытянутых руках. От острых, в зазубринах, досок забора ладони пылали, но Воробей не разжимал рук.

— Дураки! — крикнул он что было сил.

Делавары воинственно взвыли. Их набралось человек десять—двенадцать, двух-трех из них Воробей не знал, остальные же были его одноклассники из цистерцианской* школы-гимназии: Гашпар Узон, Миклош Шнейдер и его младший брат, Иван Шнейдер, Ласло Эрдёг, Кеси-Хайош и Енё Надь.

Не нравились ему эти заносчивые мальчишки.

К началу учебного года он опоздал, приехал в город тремя неделями позже, когда мама управилась, собрала ему самое необходимое. В гимназию они с отцом пришли часам к десяти, прямо в кабинет директора. Там сильно пахло скипидарной мастикой. Воробей с удовольствием вдыхал запах мастики. Он и запах колесной смазки любил, и мастики для натирки полов, запах бензина, керосина.

Директор гимназии был священник, но какой-то странный. Не потому только, что очень уж толстый, толстых священников Воробей навидался и раньше, странная на нем была сутана — вся кремовая, а спереди и сзади, резко выделяясь, шли широкие, в две ладони, черные полосы.

Директор улыбался. Воробей прижался к отцу.

— Ну, так я уж пойду,— сказал отец и ободряюще посмотрел на сына.

Воробей ничего не сказал. И хотел бы — не мог: в горле стоял ком.

Директор вернулся зачем-то в кабинет. Тут отец и спросил:

— Ты ведь не задашь реву, Воробей, правда?

— Нет,— выговорил Воробей.

Директор подтолкнул его к отворенной двери класса. Сердце Воробья колотилось как бешеное. От волнения. И еще — он боялся. Сам не знал чего, но боялся.

— Это ваш новый товарищ,— громко сказал директор, он больше не улыбался. Немного помолчав, добавил: — Примите его с любовью.— Но и тут не улыбнулся.

* Цистерцианский — принадлежащий католическому монашескому ордену цистерцианцев.

Директор вышел, дверь за ним тихо притворилась, и Воробей остался перед рядами парт совсем один. Он оглядел класс. Светлые головы, темные головы, ярко-рыжая шевелюра Ивана Шнейдера. Позднее Воробей часто удивлялся: как странно — в этот первый миг он как бы не увидел лиц, кроме лица Гундрума. Быть может, потому, что Гундрум единственный глядел на него без ухмылки.

Вдруг он услышал голос монаха-учителя:

— Как тебя зовут?

Воробей ответил.

— Меня зовут Эдгар Бретц,— сообщил монах и подошел к нему.— Я твой классный наставник.

Лицо Эдгара Бретца было сурово.

У него оказались тоже голубые глаза. Но странные какие-то глаза, ровно голубые, без оттенков. Воробей смешался. Однако строго поблескивавшие очки в золотой оправе ему понравились, и седые волосы Эдгара Бретца тоже, и его длинный, с горбинкой, нос.

— Вот там твое место.

Догадаться было нетрудно, в классе осталось одно-единственное свободное место, в среднем ряду, на предпоследней парте, рядом с Райковичем.

Парты сияли. Блестели желтая и коричневая краски, сверкали ножки из гнутых металлических трубок, Воробей никогда прежде не видел подобных. Он еще не дошел до своей парты, но уже чувствовал в кончиках пальцев прохладу и гладкость полированного дерева.

И тут класс расхохотался. Не известно, кто засмеялся первым, но смех вырвался наружу и ураганом пронесся среди стен.

Воробей оцепенел. И опять приметил Гундрума: он не смеялся.

Эдгар Бретц произнес:

— Тихо!

И сразу все смолкло. Воробей сел за парту. Он сидел прямо, не шевелясь, на его лице была растерянность.

— Итак, продолжим... Читай, Корош!

— ...vineam quoque curam*,— старательно читал Корош.

Райкович толкнул Воробья локтем.

— Привет,— сказал он и протянул под партой руку. Рука была холодная, потная.— Фартовые у тебя штанцы,— шепнул он с кривой ухмылкой.

Воробья одели дома в костюм из крестьянского полотна. Он был совершенно новый. Куртка, короткие штаны. Не очень короткие, до самых колен. Воробей сам не свой был от радости, когда примерил его.

«Ну вот, теперь ты у нас совсем как барчук»,— сказала мама.

— Откуда ты? — шепотом спросил Райкович.

— С хутора. Из Эгерешпусты,— шепотом же ответил Воробей.

Эдгар Бретц постучал по парте металлическим наконечником карандаша.

На маленькой перемене чуть ли не все обступили Воробья.

— Из Эгерешпусты! — объявил Райкович. Он выпятил грудь и вообще глядел так, словно демонстрировал какую-нибудь диковинку, которую раздобыл во время опасного и полного приключений путешествия по Африке.

Воробей встал. Ему хотелось выйти, уйти от всех.

И тут опять раздался хохот.

— Ну, знаешь, ты в этих своих шароварах похож на...— заговорил кто-то и осекся, не найдя подходящего сравнения.

— ...на зареванную обезьяну,— договорил фразу Мики Шнейдер.

Воробей набычился и исподлобья глянул на Шнейдера.

Мики Шнейдер, видя, что новичок стоит не шевелясь, совсем осмелел, он шагнул к Воробью и дал ему легкого щелчка по подбородку.

— Ну, как дела, зареванная обезьяна?

Внезапно Воробей развернулся и отвесил Шнейдеру крепкую оплеуху. Ударил в полную силу, так что стало больно руке.

* ...и заботы о винограднике (*лат.*).

Шнейдер — он был на голову выше Воробья — пошатнулся.

— Ну погоди, ты, мразь! — злобно прошипел он.

Воробей вскинул руки, защищая лицо, он видел, что несколько мальчишек изготовились броситься на него. И тут вмешался Гундрум.

— Что, Шнейди, схлопотал по морде? — сказал он и встал.

Выйдя из-за парты, он оказался как раз между Воробьем и Шнейдером. Как выяснилось, Гундрум был не так уж высок ростом. Волосы у него стояли ежиком, короткие и густые, видно, летом его остригли наголо. Лицо было угловатое, нос короткий. И очень смуглая кожа.

Шнейдер отвечать не стал, но сразу же повернулся и отошел.

— За это ты еще получишь свое,— бросил он Воробью.

В коридоре среди шума и гама новичок опять остро почувствовал свое одиночество. Он огляделся. Вдоль всего коридора тянулись узенькие, покрытые голубой эмалью шкафчики под номерами. Прямо напротив двери, опершись спиной на один из таких шкафчиков, стоял Гундрум и ел густо намазанный жиром кусок хлеба. Он не вынул хлеб из бумажки, только немножко ее отвернул, чтобы не касаться ломтя рукой. Откусив, отворачивал еще, чтобы бумажка не мешала есть.

Все это преисполнило почтением маленького новичка.

Он подошел к Гундруму ближе — между ними оставалось еще два шкафчика — и тоже прислонился к чьему-то шкафу плечом.

Увы, Гундрум ленивым движением оттолкнулся от шкафчика и зашагал в конец коридора.

На следующем уроке была география. Ее преподавал Беньямин Асталош. Когда он вошел, все встали, в классе было необычайно тихо. Постукивая белой палочкой, учитель шел к кафедре; черных очков, какие обычно носят слепцы, не было.

Подойдя к самой кафедре, он повернулся к классу, сказал:

— Садитесь.

Острая боль пронзила коварно и неожиданно — Воробей едва не завопил, но сдержался, лишь быстро, с присвистом втянул воздух. Райкович подложил ему на сиденье кнопку.

Учитель все же услышал.

— Что случилось? — спросил он.

— Это я...— вскочил новичок.

— Твой голос мне незнаком.

Воробей назвал себя.

— Так что все же случилось? — еще раз спросил Беньямин Асталош.

— Меня... меня что-то тут ущипнуло...

Запнувшись, Воробей умолк.

— Если не хочешь сказать, не говори,— произнес учитель,— только не лги! Ты понял?

— Да,— отозвался Воробей.

— Можешь сесть.

На этот раз, прежде чем сесть, он оглянулся. Райкович всем телом повалился на парту и безмолвно гоготал.

После урока к Райковичу подошел Гундрум. Райкович принял независимый вид, но по глазам было видно, что он трусит.

— Я тебя предупреждал: на уроках Асталоша без фокусов,— сказал Гундрум.— Это уже второй случай. Выкинешь что-нибудь еще раз, отколочу.

Райкович скривился, хотел было ответить, но промолчал. А Гундрум уже отвернулся и направился к дверям.

Воробей стоял возле них и с обожанием смотрел на Гундрума; весь подавшись вперед, он решил непременно заговорить с ним, только не знал, что сказать.

— Вообще-то было не очень больно,— придумалось вдруг.

Гундрум остановился, посмотрел на Воробья с прищуром, затем, привалясь к стене, процедил:

— Да пошел ты к черту!

«Это надо же — Бледнолицый! Ну дурачье!» Воробей соскочил на землю. И тотчас по доскам забора словно

рассыпалась дробь, делавары стреляли из луков. Одна-две стрелы перелетели в курятник, Воробей потрогал их пальцами ноги, потом огляделся.

Куриные перышки нашлись тут же. Правда, они были коротковаты. «Ничего, я потом с хутора, из дому привезу орлиные перья. Или щурки. У щурки перья золотистые, самые красивые». Воробей стал думать, из чего бы сделать стрелы; во дворе ничего подходящего не оказалось — здесь были только увитая виноградом беседка, несколько кустов сирени, хилая слива да несколько кедров вдоль дорожки, ведущей к воротам, где они с парикмахером играли в мяч. Дома, в Такшоне, стрелы вырезали из такшоньского дерева. Но здесь такшоньского дерева нет...

Тетя Тэта, сгорбившись, сидела под портретом. Вообще-то она веселая, подвижная, просто неугомонная, но когда сядет вот так под портретом, с четками в руках, тотчас вся сникнет, сгорбится.

На портрете был Дюсика.

Мальчику, как всегда в такие минуты, не хотелось тревожить тетю Тэту. Он тихо стоял в дверях и воображал, как однажды эта дверь откроется и на пороге покажется Дюсика, обросший, в потрепанной солдатской форме. Войдет и станет перед тетей Тэтой. Дальше Воробей никогда не придумывал, только вот это: Дюсика, обтрепанный, с большой бородой, стоит в дверях, где сейчас стоит он, Воробей, а напротив него — тетя Тэта.

Дюсика помнился Воробью не только по портрету. Когда-то, очень давно, в пропахшей табачным дымом комнате он упустил свой воздушный шарик. Шар медленно уплыл к высокому потолку, несколько раз об него толкнулся, словно надеялся пробиться на волю, и наконец замер там, словно пристыл. Короткий шнурок свисал вниз и чуть-чуть колыхался. Воробей, совсем еще маленький, горько заплакал: шарик, недосягаемый, тихо подрагивал над его головой. И тут вошел Дюсика, улыбнулся,— Воробей и сейчас помнит, как ярко сверкнули его зубы на смуглом лице,— залез на стол, схватил шнурок и, опустив шарик, отдал

его Воробью. Наверное, он и сказал ему что-то, но этого Воробей не запомнил.

Потом Дюсика стал присылать зеленые открытки — говорили, что с фронта; но однажды вместо зеленой открытки почтальон принес какую-то бумагу с печатными буквами. Воробей не успел разглядеть, что там было написано (читать он уже умел, в первом или даже во втором классе сельской школы учился), увидел только среди печатных букв два слова, написанных чернилами, крупно-крупно: ДЮЛА ХАЛАС. Так звали Дюсику чужие люди. Бумагу получила от почтальона мама, лицо ее как-то странно скривилось, Воробей никогда не видел маму такой, потом взял бумагу отец, прочитал. Мама уже горько плакала.

Отец помолчал, подумал о чем-то и бросил бумажку в огонь.

Вскоре зашла тетя Тэта, спросила, что принес почтальон, но мама и отец сказали: ничего. Воробей вытаращил глаза — как же так? Почтальон ведь принес ту бумагу! — но отец посмотрел на него, и Воробей отчего-то пригнулся к самой столешнице, шея у него больше не торчала вопросительным знаком, и он уже не таращил глаза.

Так он и сидел за столом не шевелясь, сидел долго-долго, пока тетя Тэта не вышла из кухни. Что-то дрожало и сжималось у него внутри, и еще он помнит, как нещадно палило солнце и было оно какое-то неподвижное, и воздух тоже был неподвижен. Воробей ушел со двора, хутор остался позади, у Кишшарока стоял только что сметанный стог соломы, от него веяло душистой свежестью, стог поскрипывал и шуршал, как поскрипывают и шуршат совсем недавно сметанные стога, но сейчас Воробью и это было почему-то неинтересно, не нужно. Так брел он долго, под босыми ногами вихрилась пыль, со странным хлюпаньем струйками выплескивала между пальцами. Он шагал уже вдоль придорожных тополей, вокруг зеленела кукуруза, на жнивье белели вразброс цветки чистеца, по небу плыли совсем мирные облака; когда он ступил на песок речной поймы, зашевелился ветер, принес запахи леса и воды,

и Воробей опять почувствовал лето. Он припустился бегом — Дюсика залез на стол, поймал шнурок от воздушного шарика и бежал за ним, бежал и что-то еще кричал ему вслед, но что — Воробей не расслышал. На холме он остановился, отсюда уже виднелась река.

Дюсика не умер, этого не может быть.

Тетя Тэта встала, заметила притихшего мальчика в дверях, улыбнулась ему и сунула четки под подушку.

Воробей стал ей объяснять, что ему было нужно. Ленту вокруг головы, пальца в два шириной, кожаную, но если кожи нет, можно и полотняную.

— В индейцев играете? — спросила тетя Тэта, и Воробей стеснительно улыбнулся.

Лента получилась отличная, тета Тэта даже обшила ее красными нитками. Воробей приладил к ней куриное перышко, оглядел себя в зеркало, спереди и сбоку. «Да, орлиное перо было бы лучше»,— признался он себе и вышел во двор. Некоторое время прислушивался — с улицы Газ не доносилось ни малейшего шороха,— потом сложил кирпичи у забора и встал на них.

Соседский сад был пуст. Воробей понял это по тишине и спрыгнул наземь.

Индейский головной убор он сразу не снял, покружил в нем по двору. Нашел деревяшку, похожую на пистолет, дважды выпалил в сторону соседского сада.

И вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Снял ленту с пером, оглядел, потом кинулся в прихожую и быстро засунул за сундук. Как-то не хотелось, чтобы тетя Тэта увидела: ему больше не нужна эта лента.

Потом он выбежал на улицу — вот к здешним улицам Воробей особенно не мог привыкнуть: всюду камень, чужие запахи... было в этом и что-то хорошее, но и плохое тоже, и почему-то на улице ему всякий раз становилось грустно.

В парикмахерской невеселая улица кончалась.

— Ну что, постукаем? — спросил парикмахер.

— Нет,— покачал Воробей головой,— лучше поиграйте на банджо.

Парикмахер снял висевшее около зеркала банджо. Воробей уже сидел на вертящемся стуле, повернувшись лицом к парикмахеру.

Играя на банджо, парикмахер становился как-то худощавей и даже, пожалуй, выше ростом. Судя по его глазам, он видел, играя, не свою парикмахерскую, а что-то совсем особенное, что-то такое, чего, быть может, нет в целом городе. Воробью всегда хотелось угадать, что видит парикмахер, играя на банджо. Чаще всего ему представлялись лошади или огромные, тихо волнующиеся моря-океаны, а еще была одна песня, от которой сразу наставало лето. И казалось, что идешь босиком по пыли. Пыль горячая, обжигает ноги, а вокруг акации...

Парикмахер как раз наигрывал эту песенку, когда вошел веснушчатый паренек. Воробью паренек показался знакомым, он долго соображал, где его видел, пока не понял, что не видел никогда.

— Стричься будем или бриться? — пошутил парикмахер.

Веснушчатый засмеялся и сказал: только стричься. Парикмахер уже снял было с шеи банджо, но веснушчатый попросил:

— Поиграйте немного еще.

Парикмахер опять накинул шлейку на шею.

Потом он стал стричь паренька. Щелкал ножницами, ловко орудовал машинкой. Веснушчатый щурился, состриженные волоски попадали ему на ресницы. Когда половина головы уже была острижена наголо, он вдруг сказал:

— Музыка — это так красиво.

Парикмахер перестал стрекотать машинкой, поглядел на макушку маленького клиента — забавно, как этот веснушчатый малец сказал: «Музыка — это так красиво».

Вдруг за окном заревели трембиты*, заухали барабаны. Среди всех инструментов особенно выделялся большой барабан.

* Трембита — народный духовой инструмент в виде большой трубы.

— Пам-барабам-пам-пам,— подхватил парикмахер.

Веснушчатый улыбнулся.

— В большой барабан Смерть бьет.

— Смерть? Почему смерть? — удивился парикмахер, собрав лоб в морщины.

— Так это ребята из исправительного дома.

— Знаю, они. Да смерть-то при чем?

— Барабанщика так прозвали: Смерть. А другого Лошадиной Башкой кличут. Вы их не знаете? Они же еще в футбол играют всегда возле церкви Сердца Иисусова.

Веснушчатый паренек, теперь уже совсем с голой головой, взялся за дверную ручку, постоял, драя ботинком протертый маслом пол, словно палубу, и вдруг спросил Воробья:

— На площадь не пойдешь?

— Пойду,— поспешно откликнулся Воробей и тотчас виновато оглянулся на парикмахера, чувствуя, что в этой поспешности было что-то неловкое. Но парикмахер ему улыбнулся.

Выйдя на улицу, они, не сговариваясь, припустили бегом — обоим хотелось догнать ребят из исправительного. Вдруг веснушчатый притормозил и повернулся к Воробью.

— Меня, между прочим, Шани Ботош зовут,— сказал он.

— А меня — Воробей.

Был вечер, стемнело, должно быть, потому он и принял Бандита за Гундрума. Воробей шел домой, развлекаясь тем, чтобы ступать точно в середину больших гранитных плит тротуара. Из-за этого приходилось иногда даже прыгать. Увидев впереди плотную мальчишескую фигуру, он бросился догонять; почти догнав, заметил, что тот одет в серую форменку исправительного дома, но все же окликнул:

— Гундрум!

Шедший впереди обернулся, и Воробей понял, что ошибся: мальчишка, смотревший сейчас на него, был ему совсем

незнаком. Правда, лицо у него было такое же смуглое, как у Гундрума, но гораздо, гораздо красивей.

— Я думал, ты — Гундрум,— растерянно пробормотал Воробей.

— А кто такой Гундрум? — спросил незнакомец в серой одежке.

— Он со мной в одном классе учится.

— И похож на меня?

— Нет, только сзади. Лицом не похож.

Некоторое время они молча шагали рядом, потом Воробей робко спросил:

— Ты из исправительного?

— Оттуда. Только называть его полагается, чтоб ты знал, не исправительный, а воспитательный — воспитательный дом для мальчиков,— звонко сказал красивый мальчик и, старательно вытянув губы трубочкой, плюнул, стараясь угодить как можно дальше, даже наклонился вперед.

— У нас на хуторе есть один парень, он на двенадцать метров может плюнуть,— сказал Воробей.

— Не загибай.

— Правда, может, богом клянусь.

У перекрестка Воробей остановился, кивком указал на Будайский проспект.

— Ну, привет, я здесь живу,— сказал он.— Вообще-то меня Воробьем зовут. А тебя?

— Бандитом.

— Как — Бандитом? Почему?

Воробей ошеломленно смотрел на чужого мальчика, чье лицо смутно белело в сумерках, и судорожно мял в пальцах рукав пальто. Однажды ему попалась книжка о бандитах, она была в желтой обложке.

— Просто так,— сказал Бандит.— Такое вот имя.

— Настоящее?

Бандит засмеялся. В его смехе было что-то холодное, жесткое. Воробью вдруг отчаянно захотелось быть уже дома.

— У тебя спичек нет? — спросил Бандит.

— Нет.

— Жаль. А то покурили бы. Вот, только что раздобыл.

Он выудил из кармана куртки мятую сигарету и показал Воробью.

— Я не курю,— почти шепотом сказал Воробей.

— Ну и что, спички-то все равно мог иметь. Посидели бы с тобой вот здесь, на стенке этой, покурили. Неохота еще домой идти.

— А мне уже пора,— сказал Воробей.

— Ну и ступай, коли труса празднуешь.

— Кто труса празднует?

— Ты!

— Я-то нет.

— Тогда пошли, влезем на эту ограду, я тебе что-то скажу.

Они уселись на каменной стене, в том месте, куда не достигал свет уличных фонарей.

— Махнемся одежкой? — спросил Бандит, когда они уже сидели наверху.

— Зачем?

— Деру дать хочу.

— А ты почему в исправительный дом попал? — спросил Воробей.

— Потому. В белую муку насрал,— весь скособочившись, сказал Бандит.— Ну, будешь меняться или не будешь?

— У меня другого ничего нет, только что на мне.

Бандит помолчал, вытащил опять сигарету, поглядел на нее.

— Фатер спятил бы, если б я домой заявился. От радости,— сказал он с ухмылкой.— Старый козел,— добавил еще, помолчав.

— Кто старый козел?

— Фатер, кто же.

Воробей втянул голову в плечи. Соскочить бы сейчас с ограды — и домой без оглядки! Но он боялся.

Бандит спрыгнул вниз первым.

— Ладно, не хочешь меняться, не надо. Я пошел, не то Глава Семьи облает.

Когда спустился и Воробей, Бандит спросил еще:

— На площадь-то играть прнходишь?

Воробей кивнул.

Банднт зашагал к улнце Лёвёльде. Воробей смотрел ему вслед, когда же он совсем нсчез в темноте, почувствовал вдруг, что в тенн каменной ограды кто-то неслышно крадется к нему. Воробей опрометью броснлся домой, пулей влетел в ворота. Лншь там перевел дух и долго всматривался нз-за штакетника в темноту, но возле камеиной стены иа протнвоположной стороие ннкого не увндел.

Когда оии с Шаии Ботошем прибежалн иа площадь, серый прямоугольннк воспнтанников нсправительиого дома уже рассыпался на шумные стайкн. У Воробья сразу полегчало на душе. В ребятах нз исправнтельного, маршнрующнх по улнце строгимн колоннамн, было что-то пугающее, как будто под нх жалкимн курткамн, перехваченнымн кожанымн ремиями, танлись бог знает какне тяжкне преступлення. И смотрелн они все как-то подозрительно, коварно — кроме, пожалуй, Банднта: Банднт был очень красивый, н глаза его гляделн ясно н чисто. Остальные былн скорей некрасивы, особеиио Лошаднная Башка, тот, что в нх оркестре нграл на бомбардоне*. У Лошадиной Башки был плоский лоб, неправильный, скошениый подбородок, а над толстыми губами торчалн редкне черные волоскн. Маленькие, глубоко посаженные глазкн смотрелн злобно.

Смерть тоже красавцем ие назовешь, но он был совсем не такой, как Лошаднная Башка. Необыкновенно длннный, он на целую голову возвышался над остальиымн ребятамн н говорил, забавно гнусавя, причем то баснл, то срывался на фальцет. И был он ужасно худой — невероятио худой, как будто для контраста к басовитому, добродушно и глуповато круглому барабану, на котором играл с упоением.

И еще Воробей заметил, что на Смерть ниогда вдруг что-то находнт. И тогда он шагает по затоптаиной траве площадн словно во сне, словно ноги его ие касаются земли, и каждому видно, что ндти он никуда не собнрался, просто пошлось —

* Бомбардои — большой барабан.

он и пошел, без всякой цели, и куда повернет в следующую мииуту, совершенио неизвестио. Иногда это случалось с ним даже во время матча, ребята кричали: «Смерть, бери мяч, Смерть, бей по воротам!» — а он вдруг становился как сониый и медлеиио шел, не глядя по сторонам, часто совсем не туда, где был противник с мячом.

Шани Ботош подбежал к группе из пяти-шести человек, которая расположилась у дальнего конца площади, возле груды кирпичей. Одни сидели, другие стояли. Лошадиная Башка стащил с иог бутсы и поправлял портянки. Смерть что-то толковал ему. Бандит растянулся на траве и жевал стебелек.

— Привет, ребята! — радостно крикнул Шани Ботош.

— А это кто? — спросил Смерть, ткиув пальцем в сторону Воробья.

— Это мой друг,— быстро сказал Шаии и положил руку Воробью иа плечо.

Воробей пожирал глазами Бандита, стараясь поймать его взгляд, но Бандит равиодушио смотрел прямо перед собой. «Нарочио ие замечает, боится, что расскажу, как он иастропалился удрать»,— решил Воробей.

— Бандит, чего на земле развалился, холодно же,— сказал Смерть.

— Ангел-хранитель иашелся! — огрызнулся Бандит и захохотал, одиако подиялся. Вставая, скользнул взглядом по Воробью и кивнул ему. Воробей страшно обрадовался, подошел совсем близко, спросил:

— Ты ие опоздал?

— Когда?

— А тогда, вечером...

— Нет,— коротко ответил Бандит и тут же повернулся к своим: — Ну что, в футбол?

Выбирали себе команды Бандит и другой парень, по прозвищу Тыква, они были вратари. Тянули жребий. Бандит выставил вперед сжатые кулаки. Тыква ударил по левому кулаку. Бандит ухмыльнулся, раскрыл левую ладонь. Она была пуста.

— И другую покажи,— потребовал Тыква.

— Еще чего! Ты выбрал, ну и кончено!

— Давай показывай, не то по морде схлопочешь!

— А ну покажи! — поддержал Тыкву Смерть.

— В этой руке тоже ничего нет, ясно? — захохотал Бандит, но как-то не по-настоящему захохотал: смеялся только рот, а глаза не смеялись.

— Значит, команду первым набираю я,— поспешно выкрикнул Тыква.— Смерть и Лошадиная Башка.

Тем временем Бандит отвернулся, и Воробей увидел — выбросил камешек из правой руки.

Здесь было в обычае сперва выбирать сразу двух игроков, потому что Смерть и Лошадиная Башка играли всегда вместе. Друг против друга — никогда. Как только с набором команды было покончено, Лошадиная Башка спросил:

— А вы хотите мяч погонять?

— Мы хотим. Если можно,— с готовностью откликнулся Шани Ботош.

Команда Лошадиной Башки взяла к себе Шани Ботоша, Воробей достался команде Бандита.

— Левой бить умеешь? — спросил Бандит.

— Только правой,— сказал Воробей.

— Ладно, становись на левый край.

Мяч попадал к нему не часто, чтобы показать класс, надо было двигаться к центру. Но уж тут, получив мяч, Воробей не отдавал его, вел сам. Однажды даже у Лошадиной Башки мяч забрал. Лошадиная Башка разозлился:

— Еще раз на ногу наступишь, расшибу!

Хотя Воробей вовсе и не наступал ему на ногу.

Играли шестой раз. Во втором тайме ворота команды Воробья были напротив церкви Сердца Иисусова. Так что Гашпара Узона он заметил сразу. Узон шел от храма, небрежно засунув руки в карманы, посреди площади остановился, нашел среди игроков Воробья и издал долгий свист.

Мальчик видел: один за другим к площади подходят делавары. И все молча останавливаются у края «футбольного поля», неподалеку от Воробья. Воробей занервничал,

дважды промазал. Делавары даже не засмеялись.

Ребята из исправительного играли азартно, над площадкой стоял несусветный ор. Бандит отлично защищал ворота, но все же счет вела другая команда: пять-четыре.

И тут мяч получил Воробей. Он пошел вперед по левому краю, перед ним были только Лошадиная Башка и вратарь. Лошадиная Башка, тяжело дыша, бросился наперерез.

— Расшиби его к чертям! — вопил Смерть.

Воробей ловко провел мяч у Лошадиной Башки между ног, тот попытался подсечь его, но не сумел. В пяти метрах от ворот Воробей сильным ударом послал мяч. Ворота обозначались сложенными в кучки серыми форменными куртками. Тыква растянулся между ними, но мяч проскочил у него под животом.

Воробей был счастлив.

Центральные нападающие побежали к центру площадки, чтобы вбросить мяч в игру, Воробей оттянулся к своему левому краю, и тут к нему шагнул Мики Шнейдер.

— Нам, кажется, надо свести кое-какие счеты,— сказал он.

За его спиной стояли делавары.

— Какие счеты? — спросил Воробей.— Не видишь, мы играем?

Вдруг Шнейдер развернулся и с силой ударил его в грудь. Должно быть, удар пришелся под ложечку, Воробей так и скорчился, прижав обе руки к груди.

— У, быдло! — торжествующе прошипел над ухом Шнейдер.

Воробей попытался выпрямиться, с трудом вдохнул и хотел сказать что-то, но Шнейдер опять подступил к нему и со всего размаху ударил в лицо. Воробью показалось, что хрястнула переносица. Зато спазмы в груди как не бывало. Даже не распрямившись, он прыгнул головой Шнейдеру прямо в живот. Они покатились по траве.

Ребята из исправительного перестали играть, Шани Ботош опрометью кинулся на левый край, попытался оторвать Шнейдера от Воробья. Райкович и Гашпар Узон его от-

толкнули. Вероятно, избили бы и его, но тут подоспели Лошадиная Башка и Смерть. Смерть сказал:

— Не мешать. Пусть лупцуются.

Шнейдер вцепился Воробью в волосы. Кожа на голове, казалось, трещала, боль была адская. Тогда Воробей обхватил Шнейдера, изо всей мочи впился в него зубами и тут же услышал, как взвыл противник и сразу отпустил его волосы. Воробью удалось вскочить на ноги первым, Шнейдер еще был на четвереньках, и Воробей успел двинуть его по голове ногой.

— Бей же! — надсаживался Ботош.— Бей, не зевай!

Воробей ударил. Шнейдер пошатнулся, бессильно брыкаясь и вслепую размахивая руками.

«Сейчас садану его в желудок,— лихорадочно думал Воробей,— садану как следует в желудок, он и брякнется». Его захватило пьянящее чувство победы. Он чуть-чуть отступил для разбега. Шнейдер тоже отскочил назад и вдруг молниеносно нагнулся и подхватил с земли половинку кирпича.

Все, кто стоял за спиной Воробья, брызнули в стороны, на площадке царила мертвая тишина. Противники не спускали друг с друга глаз. «Надо броситься первым»,— сверкнуло у Воробья в голове, и он прыгнул.

Что произошло затем, он не понял, почувствовал только, что падает, и, лишь оказавшись ничком на земле, догадался: Райкович подставил ногу.

И тут все смешалось.

Ботош заметил подножку и бросился на Райковича.

— Ты так, да? Подножку?! — закричал он яростно и изо всех сил стукнул Райковича по уху. В тот же миг Райкович вытянул из рукава кусок кабеля, и Шани Ботош ударить второй раз уже не успел. Он упал как подкошенный. Удар попал в висок.

— Кабелем?! Ах вы, подлюги! — заорал Смерть. Ближе всех к нему стоял Гашпар Узон, ему первому и досталась мощная зуботычина.

Словно по команде, ребята из исправительного с бешены-

ми воплями кинулись на делаваров, осыпая их бранью. Смерть прорывался к Райковичу, который все орудовал кабелем. Воробей между ногами сражающихся полз к Ботошу. С ужасом всмотрелся он в его бледное лицо, потряс за плечо.

— Эй, веснушчатый, ты что?

Шани Ботош ощупал рукой лоб.

— Где эта гадина? — выдавил он и тут же крикнул: — Гляди!

Смерть прорвался наконец к Райковичу, Райкович вскинул кабель, готовясь нанести удар, но тут Бандит сзади схватил его за руку, ловко ее вывернул, и кабель оказался у него. При этом он усмехался. Смерть хотел приняться за Райковича, но Бандит сказал:

— Не тронь!

Делавары, будто услышав условный сигнал, бросились наутек. Райкович тоже, но Бандит мгновенно подставил ногу. Его движения напоминали движения кошки. И он все время улыбался.

Наклонясь к распростертому на земле Райковичу, он стал методически избивать его кабелем. Начал с лопаток, дошел до ступней, рывком перевернул свою жертву на спину и нанес еще несколько ударов по бедрам и по груди. По голове не бил.

Райкович выл как пес, потом вой стал стихать.

— Ну хватит, довольно с него,— сказал Смерть.

— Еще только передние лапы остались, вот эти распрекрасные лапищи,— опять усмехнулся Бандит и прошелся кабелем по рукам Райковича.

— Глава Семьи! — раздался предостерегающий крик.

И сразу все стихло, ребят из исправительного словно сдуло ветром. Когда их директор появился на площади, они как ни в чем не бывало гоняли мяч.

Глава Семьи спешил к лежавшему недвижимо Райковичу; он опустился возле него на колени, что-то сказал. Потом помог встать на ноги.

Ребята оставили игру, наблюдали.

— Сволочи, сволочи! — твердил Райкович.

— Что тут случилось, сынок? — спросил Глава Семьи.

Но Райкович вывернулся из рук директора исправительного дома и поплелся к церкви Сердца Иисусова. Он шел шатаясь.

Глава Семьи повернулся к своим подопечным. Они стояли по стойке «смирно» и смотрели ему прямо в глаза.

— Негодяи... негодяи!.. — Голос директора прервался.— Что вы натворили?!

Молчание.

— Ко́зари, отвечай! — гневно крикнул директор.

— Дрались городские,— отозвался Смерть.

— Не лги! Свиньи, не смейте мне лгать! Ты, Беке!

— Городские дрались,— ответил и Лошадиная Башка.

— Прошу прощения, господин директор, но в самом деле дрались городские,— сказал Бандит.

— Тебя я не спрашивал. Правду, слышите, правду!

Тут Ботош поднял голову и сказал:

— Его мы избили.

— Кто — мы?

— Мы. Вот с ним.— Ботош указал на Воробья.

Глава Семьи, сузив глаза, оглядел их. Физиономии Воробья и Ботоша были залиты кровью.

— Ты же весь в крови,— сказал Глава Семьи, глядя на Воробья.

— Он первый начал... они начали,— заикаясь, выговорил Воробей; у него перехватило горло, он кусал губы — чувствовал, что слезы застилают глаза и он вот-вот заревет. Так оно и было бы, но Шани Ботош дернул его за руку:

— А ты не реви, понял! Мы им тоже врезали как следует!

В конце площади стояла колонка, они умылись, по очереди нажимая на рычаг. Воробей замыл даже ворот рубашки, он был весь забрызган кровью.

— Не холодно? — спросил Шани, когда Воробей вновь натянул на себя рубашку.

— Нет,— сказал Воробей, хотя влажный ворот ледяным обручем охватил шею.

Они еще немного постояли возле колонки, не потому,

что не знали, куда деть себя, просто обоим очень по душе было стоять вот так, рядом, плечом к плечу.

— Ты этого Бандита откуда знаешь? — спросил Шани.

— Как-то встретились на улице.

— Он плохой. У своего отца деньги украл. Ребята говорили, просверлил стенку и залез.

— Не может быть,— сказал Воробей.

— А вот и было. Правда.

Воробей насупился. Он не мог представить себе Бандита злоумышленником.

— Хочешь, вместе пойдем в церковь Сердца Иисусова? — помолчав, предложил Шани.

— Зачем? — удивился Воробей.

— Служками будем, министрантами.

— Я не умею.

— Ну и что? С левой стороны станешь, там ничего и не надо делать. А что надо, я покажу.

Церковь Сердца Иисусова была невелика, когда-то она принадлежала сиротскому дому, но в сиротский дом не так давно попала бомба. Старое здание связывала с церковью галерея. Галерея не пострадала, как и церковь. Но теперь она шла от ризницы не в кишащий детворой дом, а в путаный лабиринт заросших сорняком развалин.

Мальчики пробрались между прохладными обломками, Шани уверенно, как у себя дома, отворил калитку, проделанную незаметно в решетке, у которой причащаются верующие. В ризнице сидел старый священник в белом стихаре.

— Святой отец,— обратился Шани к нему,— вот этот мальчик тоже хочет быть министрантом.

Священник спросил Воробья, как его зовут, большим пальцем осенил ему лоб крестным знамением и согласно кивнул.

— И ты — ученик цистерцианской гимназии?! — спросил Эдгар Бретц.

— Да,— сказал мальчик.

На щеках монаха играли красные пятна, скулы напряглись, все лицо подобралось, отчего совсем нзогнулся резко очерченный нос над узкимн, плотно сжатымн губамн — сейчас Эдгар Бретц напоминал коршуна.

— Нет, ты не наш! — отрубил он.

Утром все тело у Воробья саднило после случившейся накануне драки, нос распух; он поглядел на себя в зеркало н даже засмеялся. «Ну и фнзия у тебя, Воробей!» — пробормотал он. Перед началом урока Шнейдер н компания, молчаливые, сндели на свонх местах — это было странно, непрнвычно; Воробей ждал, чтобы уж прншел Райкович, сел рядом, что-нибудь сказал.

Но Райкович не пришел, его место рядом с Воробьем зняло пустотой.

Тогда-то Эдгар Бретц н спроснл:

— И ты — ученик цнстерцнанской гнмназни?!

У Воробья была темно-синяя гимназическая шапка, сбоку на ней цифра «I» (первый класс), а спередн — цистерцнанскнй крест: посередине столбик с перекладннами, н на всех четырех концах блестит по золотой буковке: MORS — СМЕРТЬ.

— Начал не я,— сказал Воробей.

— Молчать! — крикнул Эдгар Бретц, н мальчнк решил, что больше не произнесет нн слова.

Ему вспомннлся господнн учитель Шойом из их хуторской школы. Господнн учнтель Шойом очень часто бывал пьян, осердясь, пускал в ход метровую указку, но еслн потасовка случалась на улице, во дворе, непременно спрашнвал: «Кто начал?» Поэтому Воробей н сказал Эдгару Бретцу, что начал не он. Однажды в хуторскую школу прикатнла дама в голубом платье с высокой прической; она остановнлась на пороге н сказала громко: «Кошмар! Экая вонь!» Воробей ннкогда не забудет эти трн слова.

Он стоял перед Эдгаром Бретцем, стараясь смотреть ему прямо в глаза, он знал, что глаза у Эдгара Бретца голубые. Но сейчас их было не видно из-за очков — на ннх падал свет, н стекла отсвечнвалн.

— Кто они, твои друзья? — спросил Эдгар Бретц.

Воробей опустил голову. Монах подошел к нему совсем близко — Воробью казалось, на него валятся стены, раскачиваются парты, вверх, вниз, как на «американских горках». Дверь отворилась, как-то странно, беззвучно вошла та дама в голубом платье, что-то сказала, из-за гула ее слов не было слышно, но Воробей прочитал их по ее губам. Она сказала то же, что и тогда, на хуторе: «Кошмар! Экая вонь!» Мальчик удивился, он не чуял никакого запаха, ни тогда, ни сейчас. Господин учитель Шойом неловко поклонился даме и ничего ей не возразил, но было видно, что он тоже недоумевает: вонь? в школе? с чего бы?.. И все дети смотрели удивленно, однако же промолчали. Но вот поднялся Гундрум, он оказался ужасно высоким и как будто покачивался над головами ребят. «Никакого кошмара,— сказал он.— И никакой такой ужасной вони здесь нет».

— ...ты пойдешь к нему домой, сегодня же, и попросишь прощения. Понял? — услышал Воробей голос Эдгара Бретца.

— Не пойду,— сказал Воробей.

Красные пятна на лице Эдгара Бретца не затухали, глаза смотрели сурово... Мальчик поднял голову и тихо сказал:

— Слушаюсь.

Двор у Райковичей был куда больше их двора на Будайском проспекте, но казался узким и тесным, весь засаженный самшитом, по которому, цепляясь шипами, извивались, словно змеи, плети вьющихся роз.

Дом был просторный, с огромными окнами.

— А ну, вперед! Или сдрейфил? — язвительно сказал Мики Шнейдер, высившийся над маленьким Воробьем, и подтолкнул его в плечо.

Но остановился Воробей совсем не поэтому. В доме кто-то играл на рояле, звуки негромко доносились сквозь закрытые окна.

Прихожая была обставлена солидной темно-коричневой мебелью, в нос Воробью ударил какой-то непонятный запах.

Он весь подобрался, насторожился. Мики Шнейдер сразу прошел вперед, звуки рояля умолкли, послышались чьи-то легкие шаги, высокие и белые двустворчатые двери отворились, и на пороге показалась девочка — ее голова была как раз на уровне дверных ручек. Воробей оторопел. Девочка жадно пожирала его широко распахнутыми глазами, неловким движением руки она отвела со лба прядь волос. «Какие голубые глаза!» — удивился Воробей.

Девочка вдруг исчезла, в дверях вместе со Шнейдером появился длинный лысый мужчина.

— Здравствуйте,— пробормотал Воробей.

— Вот он,— указал на него Шнейдер.

Мужчина на приветствие не ответил; несколько секунд он задумчиво разглядывал маленькую фигурку в прихожей, потом сделал знак рукой:

— Входите все!

Воробья вытолкнули вперед, он шел сразу же за Шнейдером и отцом Райковича, остальные двинулись за ним, позади всех — Гашпар Узон. Воробей затравленно озирался. «Вот сейчас они все набросятся на меня»,— думал он, с опаской ступая по коврам, в которых утопала нога; полированная мебель вокруг сверкала, подавляя и угнетая его. Хотя здесь они на него не кинутся...

Райкович лежал в комнате поменьше. С первого взгляда было понятно, что это его комната: у окна висел настоящий индейский головной убор, на полках выстроились книжки в пестрых обложках.

Голубоглазая девочка стояла у изголовья Райковича, прямо против Воробья, и смотрела испуганно; было видно, что она его боится. Воробей глядел на девочку. На Райковича взглянул лишь мельком. Он сидел в постели с целой горой подушек за спиной, на ночном столике стояла банка с вареньем.

Воробей остановился в дверях. Против Райковича он ничего не имел, но никакого сочувствия к нему не испытывал.

— Вот он,— сказал отец Райковича. В комнату вошла женщина в красивом голубом платье. Воробей чуть-чуть

постороиился, чтобы оиа могла пройти к кровати. Оиа шла плавио и ловко, голубое платье, шурша, облегало ее. Воробью хотелось плакать, ему стало вдруг иевыиосимо стыдио, ои поглядел иа девочку, словио взывая о помощи, но голубоглазая девочка тотчас от иего отвернулась.

— Ои пришел попросить прощеиия,— сказал Кеси-Хайош.

Стало очеиь тихо. Но в глубиие этой тишиы вновь и виовь отдавался эхом скрипучий голос Кеси-Хайоша — в ушах Воробья повторялись, с каждым разом все глуше, слова: «Он пришел попросить прощеиия... Он пришел...»

— Чего же ты? Начииай! — сказал Мики Шнейдер.

Даже ие глядя, Воробей видел перед собой его нахальиую, спесивую физиоиомию.

— Я иичего ие сделал...— выговорил ои чуть слышио.

Жеищииа в голубом платье печальио иа иего поглядела, в ее глазах были удивлеиие и грусть, больше иичего. Девочка опять отвериулась.

И виовь наступила тишиа, она длилась, быть может, мгновение, не больше, ио показалась долгой, бескоиечиой.

— Хулиган! — сказал отец Райковича, скривив рот, и добавил: — Хулиганское отродье!

Воробей побагровел, сжал кулаки, вскииул глаза иа длиииого, словно калаича, мужчиiу, из глаз у иего брызиули слезы, ои повериулся и пошел.

К иему подскочил Мики Шиейдер.

— Не трогай его! — испуганио вскрикиула жеищииа в голубом платье.

Маленький, худеиький Воробей шел к выходу, в мягком ковре утопала иога, слезы застилали глаза, ои ударился коленкой о стул. Хотелось бежать, бежать отсюда сломя голову, что-то тесиило ему грудь, ио ои сжал зубы и — не побежал. И на улице тоже. Ои ие хотел плакать, кулаками зажимал слезы, ио они лились сами, без спросу.

Тетя Тэта сидела иа кухие и что-то иапевала себе под иос. Воробей, вступив в свой двор, уже ие мог ие бежать,

он влетел в дверь, остановился посреди кухни, сорвал с головы форменную шапку и швырнул ее об пол. Значок оторвался, с металлическим скрежетом проскользил по каменному полу, шапка осталась там, где упала, и лежала бесформенной тряпкой, словно немой укор. Тетя Тэта испуганно смотрела на него, вытянув шею и уронив руки. Воробей бросился к ней, зарылся лицом ей в колени. Слез уже не было, он только всхлипывал, рыдания глухо вырывались из груди. Тетя Тэта обняла его, прижала к себе.

— Что с тобой? Что случилось, сынок? — спрашивала она и гладила его по голове.

Воробей не отвечал, только всхлипывал горько, без слез.

Должно быть, он так и заснул на коленях у тети Тэты. Проснулся на шезлонге, тетя Тэта укрыла его своим пальто.

Некоторое время он устало смотрел в потолок, не думая ни о чем, под пальто ему было тепло, на душе стало мирно и необыкновенно спокойно.

Отворилась дверь, с порога ему улыбалась тетя Тэта. В руках у нее была цистерцианская шапка. Она поднесла ее к Воробью.

— Ну, ревушка, проснулся? — сказала она ласково.— А я привела твою шапку в порядок.

Воробей повертел шапку в руках: тетя Тэта пришила крест нитками, потому что металлические зажимы сломались. Но черные нитки почти не были видны.

2

Воробей хотел крикнуть — может, услышит парикмахер и поспешит им на помощь. Но Лаци Эрдёг сразу зажал ему рот.

— Тряпку! — крикнул он, и Иван Шнейдер мигом выхватил из-за пояса с медными бляшками чистый носовой платок, словно именно для этого и прихватил его. Они затолкали платок Воробью в рот.

— Вот теперь и вопи, жалкий Бледнолицый! Трусливый шакал!

Его тащили по заросшему чертополохом пустырю. Во-

робей пытался вытолкнуть платок языком. Ему казалось, он вот-вот задохнется. В горле копился вой, лицо посинело. «Сейчас задохнусь»,— мелькнуло в голове, и он крутанулся изо всех сил, вырвался из рук Ивана Шнейдера и Лаци Эрдёга. От резкого рывка он не удержался на ногах и навзничь упал в чертополох, над ним колыхались синее небо и большие, с дыню величиной, липучие шары репейника. Внезапно Воробей покорился своей участи, расслабился — как утопающий, примирившийся с неизбежным, и в ту же минуту легкие заполнил дивный свежий воздух. «Эх, Воробей, Воробей, только-то и всего, главное, не надо пугаться». Если бы не платок во рту, он, вероятно, улыбался бы. И когда два делавара, грубо дергая, подняли его, он крепко саданул Ивана Шнейдера по ноге.

Его тащили к дереву, возле которого в парадном уборе помощника вождя красовался Райкович. «Дурак ты, вот кто, и перья твои крашеные дурацкие»,— думал Воробей и попытался обернуться: что там с Шани Ботошем? Его тут же сильно дернули. «Вперед гляди!» — заорал кто-то, но Воробей все же увидел, что в Шани Ботоша вцепились четверо, но все равно удерживают с трудом, туда-сюда болтаясь в зарослях бурьяна. Глухие выкрики, топот ног, то ускоряющийся, то замедленный, неровный, приближались. Воробей уже слышал за спиной прерывистое дыхание, казалось, оно обжигает ему шею.

— Привязать к дереву бледнолицых псов! — распорядился Райкович.

Делавары стали привязывать обоих пленников к дереву — спинами друг к другу; ствол дерева разделял их, но прикрученные по бокам руки соприкасались. Ребят обмотали по меньшей мере стометровой веревкой, так что под конец они уже стали похожи на запеленатые мумии: виднелись только головы да бутсы.

От ворот раздался крик караульного:

— Великий Вождь идет!

Индейцы, размахивая в воздухе боевыми мечами, разразились громогласным «ура!».

Хор мальчишескнх голосов прорезал густой, бесстрастный бас Велнкого Вождя; Воробей краешком глаза увндел кремово-черную сутану, н тут же перед ним вырос Эдгар Бретц. Вокруг его рта нграло странное подобне улыбкн, но Воробей не мог определнть, какая это улыбка — добрая? зловещая? Он не любнл Эдгара Бретца.

— Выньте кляп,— прнказал монах, н Кесн-Хайош выхватил у Воробья нзо рта свой платок.

— Он вопнл,— объяснил Кесн-Хайош Эдгару Бретцу.

— Индейцы не вопят. Верно, сын мой? — обратился к Воробью монах — классный наставник — н улыбнулся ему.

— Я не ннндеец,— сказал Воробей.

— Вот как?! И кто же ты?

— Нникто! Мой отец все равно заберет меня отсюда!

— Ну-ну, что уж ты так нспугался? — строго заметил Эдгар Бретц.— Бледнолнцые тоже бывают храбрыми. А ты сейчас пленнник.

Воробей молчал. Монах прнблнзнлся к дереву, просунул палец между веревкой и грудью Воробья, проверяя, не слншком лн туго затянуто. Потом перешел к Ботошу.

— Не очень туго? — спроснл его.

— Нет, ваше преподобне,— сказал Ботош.

Эдгар Бретц умолк, задумчнво обвел взглядом однчалый сад. Потом снял очкн в золотой оправе, медленно, устало протер стекла, опять надел очкн на нос, повернулся к Ботошу, посмотрел на растерянно моргающего мальчнка с той же отрешенностью, с какой смотрел на сад, н без улыбкн, но, впрочем, прнветлнво потрепал Шанн по щеке.

— Ну-с, сын мой, нтак...

Это прозвучало у него словно на уроке, когда он приступал к объяснению нового матернала.

Делавары выжидательно следилн за Велнкнм Вождем, нх напряженное ожнданне, тайная боязнь, как бы он не смягчнлся, заставили Эдгара Бретца вновь собраться, н кто знает, нз какого далёка вернулся он в этот мнг... Выпрямившнсь, окннув всех быстрым, короткнм взглядом, он

громко хлопнул в ладоши — хлопок прозвучал резко, совсем по-военному — и зашагал к забору, бросив на ходу:

— Созываю Большой совет.

Делавары прекрасно слышали слова Эдгара Бретца — они все столпились вокруг него,— однако, важничая, стали вполголоса передавать друг другу: «Большой совет... Большой совет...»

Это звучало здорово — Большой совет! Воробей завистливо смотрел на украшенных индейскими перьями делаваров, он с радостью к ним присоединился бы. Повернув голову, чтобы Ботош вернее услышал его, он сказал:

— Слыхал? У них Большой совет!

— Ясное дело, слыхал,— отозвался Ботош, и по его тону было понятно, что плевать он хотел и на Большой совет, и на все эти индейские побрякушки.— Поп еще здесь, гляди не дрейфь!

— Я-то нет. И до сих пор не дрейфил,— хвастливо сказал Воробей.— Стану я их бояться! Все равно отец заберет меня отсюда.

Ботош хмыкнул.

— Ты что? — спросил Воробей.

— Ничего. Не очень жмет?

— Колени только. Немного.

— Ну-ка постой! — Шани ближе притиснулся к дереву, его прикручивали так не в первый раз, он знал, что при этом надо стараться по возможности отгибаться от дерева, выпятить грудь; потом чуть сожмешься, и веревки ослабнут.— А теперь как?

— Теперь хорошо, — сказал Воробей.

— Ты этого монаха знаешь?

— Да. Он был наставником в моем классе у цистерцианцев.

— Это тот, который сказал, чтоб тебя не брали министрантом?

— Угу.

— У, сволочь! — свистящим шепотом сказал Ботош.— А еще погладил меня по щеке!

Парикмахер балансировал иа стуле, корпусом слегка иаклоиился вперед, чтобы дотяиуться до угла метелкой из перьев, а другую руку отставил иазад, словио балерииа.

— Имей я столько клиентов, сколько здесь пауков, я был бы миллиоиером.— Эта мысль пришлась ему по вкусу, ои положил метелку.— А что, Воробей? Опустим двериую решетку — и айда иа Балатои. Это тебе ие волосы иемытые стричь!

— И банджо с собой взяли бы! — воодушевился Ботош.

— Ясиое дело... Что это с тобой, а?

Последияя фраза отиосилась к Воробью.

— Со миой иичего,— поспешио ответил Воробей и безотчетно прикрыл ладоиями лежавший перед иим исчерканный лист бумаги. Ои сидел иа вертящемся кресле, легоиько покачивался и давно уже старательио выводил что-то иа листочке караидашом.

— А ие влюблеиы ли вы часом, а, сударь?

— Еще чего! — вспыхиул Воробей.— Вы уж скажете!

— Но бумажку ту прячешь, ие покажешь иебось!

— Какую бумажку?

Парикмахер весело гримасиичал, смеялся. Ботош вскочил, оставив баиджо в покое, бросился к Воробью, пытаясь выхватить у иего бумажку. Мгиовеиие спустя они уже катались по протертому маслом полу. Ботош хохотал во все горло, Воробей тоже пытался смеяться, одиако крепко сжимал листок в кулаке, ои не отдал бы его ии за что на свете.

— А иу, коичайте, дьяволята! Переломаете мие тут все, и коиец заведеиию, придется иа старости лет в бродячие цирюльники записаться!

И парикмахер выругался от души. Впрочем, тут же втяиул голову в плечи и, косясь иа ребятишек, сказал покаянио:

— Эх, чтоб меия! И погаиый мой рот... Вот опять сорвалось с языка! Ну, иичего, как-иибудь замолю грех, верно, мальцы?

— Где щетка? — мрачио спросил Ботош.

— Нет, вы только поглядите, как оскорблен его преподобие!

— Прошу прощения, но вы ведь позволите нам немножко почиститься?

— Обиделся? — спросил парикмахер огорченно и спрыгнул со стула.

— Нет. Но так выражаться не подобает. Это сам святой отец сказал. Нехорошо.

От сдерживаемого смеха нос парикмахера ходил ходуном.

— Ну ладно уж, больше не буду чертыхаться, вот те крест.

Он опять взобрался на стул.

— Тьфу ты дьявол,— бормотал он себе под нос,— эдак я, того гляди, в монахи запишусь.

Воробей стоял возле корзины для мусора и рвал на мелкие клочки свою бумажонку. На ней он по крайней мере сто двадцать раз — словно ему это было назначено в наказание — написал имя МЕЛИНДА, и прописными буквами, и маленькими, и печатными, и в завитках.

Наконец великая победа Мелинды, изорванная в клочья, оказалась в корзинке.

Ботош щеткой отчищал локоть Воробья.

— Н-да, теперь хоть чисти, хоть не чисти,— огорченно проговорил Воробей, поглядев на локоть куртки.— Вот дурень, приспичило тебе здесь бороться!

— Что, славно изгваздались? — спросил парикмахер, наконец достав паутину.

— Ничего, у тети Тэты есть такая жидкость, она нас отчистит,— сказал Воробей,— она и в прошлый раз справилась в два счета. Масляного пятна как не бывало. Ну, пошли!

Ботош, однако же, все не шел, топтался за спиной парикмахера.

— Ну, чего тебе? — спросил парикмахер и повернулся к нему, не сходя со стула. Мальчик был ему как раз до колен.

— Мне бы очень хотелось, чтобы...— проговорил Ботош.

— Чтобы что?

— Чтобы вы меня выучили играть на банджо.

— Святые отцы разрешат тебе?

Воробей ухмыльнулся.

— А ты учиться не хочешь?

— Мне слон на ухо наступил,— гордо сказал Воробей.— А вам, ваше преподобие?

— Мне нет! — сразу оживился Ботош.— Насвистеть вам что-нибудь?

— Давай, давай!

Ботош, раздув живот, старательно принялся насвистывать «Мчится по прериям ковбой молодой».

— Ну, молодец,— похвалил парикмахер,— можешь считать себя уже банджистом.

И опять повернулся к стене, чтобы продолжить свое занятие.

Ребята побежали к тете Тэте.

— А она не заругает? — спросил Ботош.

— Чего там! — сказал Воробей.— Только скорей, не то на литанию опоздаем.

Тете Тэте пришлось потрудиться, пока она оттерла пятна нашатырем.

— Ну, бегите, я тоже приду на литанию,— сказала она.— Чтоб у меня красавчиками были!

Два героя со всех ног припустили к церкви Сердца Иисусова.

Около газового завода Ботош сказал:

— Спорим, что я знаю, в кого ты влюбился!

— Кто влюбился? Ты что, сдурел? — бешено накинулся на друга Воробей, и уши у него запылали.

— В сестренку того парня, которого Бандит отделал тогда и тебе пришлось у него прощения просить.

— Нужны мне эти девчонки, соплячки несчастные! — возмутился Воробей и как последний довод сообщил: — Я даже имени ее не знаю!

Тут он, разумеется, покривил душой. С чего бы иначе

сто раз начертал на том листочке «Мелинда»?

Из-за нее он и перед Райковичем заискивать стал. Воробей, вспомнив сейчас, даже вспыхнул. Это было гадко, отвратительно. Все стояли в коридоре, опираясь на синие шкафчики, Райкович жрал котлеты с хлебом; у него было две котлеты, две вкуснющие котлеты, а он их ел с таким деревянным лицом, словно это ему вовсе не в радость.

— И кто у вас вождь? — спросил Воробей, не замечая, что стоит перед Райковичем в самой подобострастной позе, даже не смея опереться спиною на шкафчик. Спрашивал он просто так, знал ведь прекрасно, что вождь делаваров — Мики Шнейдер, а Райкович — его помощник.

— Тайна нашего племени,— сказал Райкович.

— А как тебя по-индейски зовут? — спросил Воробей, хотя знал и это, Райкович даже на тетрадках своих всюду пишет: «Хитрый Лис».

— Хитрый Лис,— сказал Райкович и вонзил зубы во вторую котлету. Вдруг он поглядел на Воробья, потом на котлету.— Есть хочешь?

— А, не хочу,— сказал Воробей, умирая от голода.

— На, поешь,— сказал Райкович и протянул ему котлету, украшенную следами его зубов.

— Вот спасибо! — воскликнул Воробей; котлета не заслуживала той благодарности, какую он выразил голосом.

— И хлеб бери,— сказал Райкович и сунул ему в руку недоеденный кусок хлеба.

Воробей почувствовал, что кто-то на него смотрит. Принимать еду здесь не считалось зазорным. Те, что приходили в школу из окрестных сел, каждый день делились завтраками с городскими ребятами, кое у кого были уже постоянные партнеры, а мать Лаци Кеменя всегда давала сыну сразу два завтрака, знала, что один пойдет Шнецли. Словом, здесь это было делом обычным. Но, правда, Райкович и другие делавары никогда никому ничего не давали и ни у кого ничего не брали.

У стены напротив стоял Гундрум, засунув руки в карманы; он усмехался.

— А полизать ему... не хочешь? — сказал он Воробью.

— Чего не в свое дело суешься? — в бешенстве крикнул Воробей.

Гундрум дернул плечом и отошел.

— Тоже мне задается, дурак! — сказал Воробей Райковичу.— И что он только о себе воображает!

Райкович не ответил. Воробей растерянно стоял перед ним с котлетой и куском хлеба в руке и всматривался в загадочную прыщавую физиономию помощника вождя. «Почему он молчит, сказал бы уж хоть что-нибудь!» — мучился Воробей. И тут, вместо того чтобы швырнуть Райковичу его поганую котлету прямо в морду, он сделал еще бóльшую глупость. (Даже сейчас, у газового завода, Воробей, вспомнив, до ушей заливается краской.)

— А вы новеньких в племя свое принимаете? — спросил он.

Райкович оглядел его с головы до ног и с откровенным безразличием (выказать отвращение он все же не посмел — из-за контрольной по арифметике) процедил:

— Кого попало не принимаем! — Оттолкнувшись от своего шкафчика, Райкович крикнул: — Эй, Гашпар! — и бросился за Гашпаром Узоном, словно им требовалось переговорить о чем-то важном.

Воробей опустил руку с котлетой вниз и, держа бутерброд между стеной и бедром, поплелся в конец коридора. Он шагал словно лунатик. «Надо было ему хоть одну ошибку вляпать в контрольную!» — не мог успокоиться Воробей. После той драки Воробей с Райковичем не разговаривали, сидели рядом за партой словно немые. Ни перешептываний, ничего. Даже ластик просили у тех, кто сидел впереди либо сзади. А теперь вот все-таки... Математику преподавал Тиктак, его боялись как огня. В тот день писали контрольную. Учитель ходил между партами, за весь урок не вымолвил ни словечка, только однажды прервал молчание:

— Байза! Сдай листок. Выйди из класса!

Байза вскочил, побелел — он был второгодник, не хватало, чтобы его опять провалили!

— Ваше преподобие, господин учитель...

— Что я сказал?! — совсем тихо спросил Тиктак.

Байза положил ручку и вышел.

Воробей к этому времени все уже кончил и сидел просто так, усердно чистя ногти. Он покосился на Райковича. Райкович кончиком ручки почесывал влажную ладонь, на носу у него поблескивали мелкие капельки пота. Когда Тиктак прошел дальше, Райкович быстро пригнулся к парте и тайком поглядел назад, на Шнейдера, однако Мики Шнейдер даже ухом не повел; он сидел, скрестив на груди руки, всем своим видом показывая, что контрольную написал,— да-да, господин учитель, Мики Шнейдер кончил самым первым! — и всячески старался перехватить одобрительный взгляд Тиктака. Но Тиктак никогда и ни на кого не смотрел одобрительно. Воробей взял клочок бумаги, как будто для черновика, и, прикрыв его собой, мелко-мелко переписал решение всех трех задачек. Шпаргалка была готова, а Райкович по-прежнему истязал свою влажную ладонь, и капли пота висели уже на кончике носа.

— С-с-с-с,— чуть слышно подал знак Воробей, но Райкович не повернулся, и тогда Воробей пнул его под партой ногой. Райкович так и подскочил разозленный, к тому же он хотел показать, что ему нарочно мешают (да и в самом деле так думал!), но Воробей мигнул ему и, выждав, когда Тиктак повернется к ним спиной, не шевельнувшись корпусом, глядя прямо перед собой, сунул ему в руку записку. Словом, за контрольную Райкович должен теперь получить «отлично». «Надо было ему хоть одну ошибку вляпать»,— злился на себя Воробей. Он был уже возле мусорного ящика, немного замешкался, будто оказался здесь случайно, стал к ящику спиной и, улучив минуту, бросил туда котлету и хлеб.

— Поглядите на этого идиота! — заорал Шнецли.— Целую котлету выкинул!

— А ну, не верещи над ухом,— сказал ему Гундрум,— не то врежу.

— Но он же целую котлету!..

— Оиа была тухлая, дурак,— иервио оборвал его Воробей.— Что я, тухлятиину стану жрать?

Шиецли смотрел прищурясь на Воробья, ои явио ему ие поверил, но тут, к счастью, зазвенел звоиок.

Воробей иадеялся, что однажды Райкович пригласит его зайти. Подойдет и скажет: «Мама говорит, чтоб ты к иам пришел... кто старое помянет...» Или: «Воробей, позанимайся со миой математикой. Каждый деиь в три часа. У иас». Но Райковичу такое и в голову не приходило. Хотя однажды оии встретились перед его домом иосом к носу. Воробей случайио забрел туда — ему даже краска бросилась в лицо, когда Райкович вылетел из ворот,— ио Райкович и тут не сказал: «Вот здорово, что ты здесь! Пошли к иам». Он вообще иичего не сказал, хотя Воробей остаиовился и спросил, что задаио на завтра из географии.

Как хотелось Воробью спросить ее имя, только имя! «Надо же иметь такого болваиа брата!» — злился ои и готов был растерзать Райковича.

Но одиажды Райкович вдруг швырнул иа парту тетрадку и громко сказал: «Вот дуреха, вечио все перепутает!» — и сердце Воробья стукнуло громко, словио пневматический молот.

На парте лежала тетрадка с иадписью: «Мелиида Райкович, уч. III кл. иач. шк.».

— Сестренкина тетрадь? — спросил он небрежно.

Райкович поглядел иа иего с раздражением, как смотрят на самое иичтожиое существо, и пробормотал скорее всего себе самому:

— Вечио она все у меия перепутает!

— Что ж из того, что ие знаешь имеии! И так мог влюбиться,— сказал Ботош.

Воробей кииулся иа иего, Ботош пустился бежать. С громкими криками оии гоиялись друг за другом по мостовой, кружили между деревьями, взбирались иа камеиные осиоваиия железиых оград, скакали словио жеребята, позабыв про все заботы, и наконец, обиявшись, переполиеииые лю-

бовью друг к другу, взбежали по ступеням церкви Сердца Иисусова.

Воробей чувствовал себя окрыленным: сейчас он войдет в церковь, не как обыкновенный смертный войдет, а как свой! Это будет чудесно... подойти и, словно так и положено, поправить алтарный покров в приделе, включить свет, войти в мягкий сумрак ризницы, обшитой деревянными панелями, и наконец надеть облачение. Алую юбку министранта, белоснежный, вышитый по краю, приятно пахнущий чистотой стихарь, а поверх него — круглую красную пелерину.

Ой нет, это вовсе не маскарад! Парикмахер, конечно же, просто шутил, да, да, он, конечно же, в шутку спросил их:

— И вам не тошно каждый вечер в эти маскарадные костюмы рядиться?

— Это не маскарадный костюм, господин Савич! — вымолвил Шани тихо, едва удержавшись, чтобы не разрыдаться; парикмахер, услышав обращение «господин Савич», дернул головой, точно его ударили.— Вот если бы вы хоть раз сподобились облачиться, сразу поняли бы, что никакой это не маскарадный костюм!

Воробей тоже глядел на парикмахера похолодев: как он может говорить такое?! Парикмахер даже растерялся, не зная, как успокоить ребят.

— Вы ведь не католик, правда? — спросил его Воробей.

Парикмахер покачал головой с непонятной усмешкой,— так усмехаются, когда не хотят выдать, правду ли говорят или врут,— но мальчики поверили не усмешке, а покачиванию головы, так им было легче, а Ботош, уже на улице, специально подчеркнул:

— Ну вот, он не католик, откуда же ему знать!

— Ну конечно! — с жаром поддержал Воробей друга, и прощение состоялось. Парикмахера то и дело приходилось прощать. Иначе как бы они без него!

Человек в алой юбке (ну надо же — юбка! И кому только в голову пришло?), в стихаре и круглой пелерине сразу

стаиовится иным: это уже ие уличный мальчишка в потрепаиной своей одежоике скрывается здесь от глаз в красиобелом убраистве, а иекто важиый, как бы безликий смотрит внутрь храма, осияиный льющимся в дверь светом.

Воробей и Шаии Ботош скромио, ио твердо ступают по камениому полу церкви, их шаги звучат ие так, как шаги прочих верующих, которые входят тихой, осторожиой походкой,— даже те, у кого есть постояиное место и оии зиают, куда идти,— нет, уже по звуку шагов этих мальчиков чувствуется, что оии здесь важиые персоиы, ие обычиые прихожаие, пассивно глазеющие по стороиам, что без иих церемоиия ие начиется, ибо оии — неотъемлемая часть богослужеиия.

Вообще Воробей ие любил церкви, его тревожила необъятиая тишиа, царившая под высокими сводами, эта тишиа отличалась от иочной тишины и тишины безлюдиых мест, от гулкой тишины родиого дома, полиой зиакомых звуков, тишиа церкви таила какую-то чуждую силу, оиа ие вбирала в себя человека. Но церковь Сердца Иисусова была иной. Здесь все предметы были Воробью знакомы, он зиал, что позади алтаря уныло приткиулись ветхая церковиая хоругвь и стул, заляпаиный известкой. И высота здесь ие казалась холодио-суровой, ей приветно улыбались яркие витражи. Церковь Сердца Иисусова стала для Воробья добрым другом, поддерживала в нем радость жизии, вливала силу. Как парикмахер.

Ботош привычио отбросил задвижку калитки, иезаметио прилажениой возле решетки исповедальии, и оии вошли туда, куда чужим войти уже иельзя. Воробей провел коичиком пальца по решетке, он полюбил, кажется, эту легкую шероховатость покрытого масляиой краской дерева, хотя, в первый раз косиувшись решетки, испытал чудовищиое разочароваиие, почти гиев. Он и прежде заглядывал иногда в церковь Сердца Иисусова с тетей Тэтой, еще до того как позиакомился с Ботошем и стал прислуживать во время мессы. Эта решетка сразу его плеиила, он ощутил почти физическую потребиость броситься к ией и про-

вестн рукой по солндному, гладкому мрамору с краснвымн прожилками. Решетка действнтельно выглядела мраморной. Но, едва коснувшнсь ее, Воробей уже знал, что это — крашеное дерево, то есть не дерево и не мрамор. Он не мог бы объяснить, почему это так его испугало, даже не говорнл ннкому о своем разочарованнн (да н что говорить, это ведь, право, пустяк... но вот то, уже давнее, Воробей н сам считал почтн что грехом!). Нет, нн о том случае, ни о другом, последнем, он ннкому не обмолвнлся, только много спустя рассказал святому отцу.

Святой отец, уже облаченный, сндел перед резным корнчневым шкафом, в котором хранилнсь облачения для службы, и говорил о смнреннн. Это был старый человек с негромкой речью, его крупный череп покрывали тонкие, как пух, белоснежные короткне волосы, залыснны над внсками отвоевалн себе уже довольно большую территорню. Старый священннк всегда выглядел усталым, Воробью казалось даже, что и мессу служить ему тяжко н он охотней всего снял бы с себя облаченне н сндел, привалясь к глухой стене разрушенного снротского дома, среди разросшейся белены н ежеголовника, подставляя солнцу лицо.

— Вы отворачнваетесь прн внде калекн, красный обрубок рукн илн обожженное, нзъязвленное лнцо вызывает у вас отвращение... А Инсус Хрнстос целовал язвы прокаженных, своей рукой касался нх гнойннков, ибо беспредельны любовь его и смнрение...

Воробей слушал, широко раскрыв глаза, но его слуха достнгалн одни лншь звуки, а смысл слов был невнятен н оставался как бы нереальным; отвратнтельная картнна разлагающейся заживо, покрытой коростой рукн, которую Христос подносит к губам, не возникала перед глазами. Он думал о другом — о той женщине н о внезапно охватившем его тогда отвращенин. Ему было стыдно. Женщина сндела перед кннотеатром «Урания» на скамеечке, было сразу внднo, что с нею что-то не так, но только подойдя совсем блнзко, Воробей увндел ее ногу. Эта нога

ие сгибалась, жеищиа сидела, вытяиув ее далеко вперед; нога была деревяииая, но очеиь ловко выточеиная, хотя даже под шелковым чулком было видио, что дерево выкрашеио под цвет кожи. Воробья затошиило, и еще долго ему снились кошмары, а при виде застывших маиекеиов в витрииах магазииов ткаией, с розовыми лицами и протяиутыми вперед руками, его охватывали внезапиые приступы тошиоты.

Воробей рассказал святому отцу про жеищиу.

Свящеиник подиял голову и долго смотрел в дальиий угол ризиицы под потолком, словио не было у него сейчас дела важнее.

— А других одиоиогих людей ты ие видел? — спросил ои.

Воробей порылся в памяти, уже почти готов был сказать, что не видел, ио тут ему вспомнилась тетя Мари Хольцер: у нее вместо правой иоги торчала из-под юбки палка с резиновым иакоиечиико м, и оиа ловко передвигалась иа ней, так что обходилась и без палки в руке. Но тетя Мари Хольцер иикакого отвращеиия ие вызывала, и когда ему случалось ее вспомииать, то меиьше всего ои думал о том, что у иее одна иога.

— Ну, видишь, сын мой,— сказал святой отец,— это совсем другое дело. Подделка под живое — это страшиее всего. И среди всякой лжи опасией всего та, которая похожа иа правду... Но ты, конечно, еще мал, чтобы....

— И решетка исповедальии тоже! — воскликиул с заблестевшими глазами Воробей.

Святой отец вскииул на иего замутиеииые старостью, окружеииые морщинами глаза.

— Решетка исповедальии? — повторил он задумчиво и вдруг улыбнулся, добродушио прищурясь, так что морщиики вокруг глаз заиграли.— Ах да, искусствеииый мрамор. Вот видишь, и ие дерево, и ие мрамор.

Улыбка сбежала с его лица, он словно уплыл мыслями куда-то далеко, ио Воробей зиал, видел по глазам, что думает свящеиник о ием.

— Ты вот глаза зажмуриваешь...

— Когда? — спросил Воробей, но уже понял, что священник имеет в виду. Он ведь думал, что святой отец если и обратит на это внимание, то примет за благочестие. Но он-то закрывал глаза из отвращения. Раньше, когда этот ритуал исполнял Ботош, Воробей ему завидовал — пока очередь не дошла до него. Ботош со святым отцом обходил причащающихся, протягивая им к самому подбородку золотое блюдо. Но потом это стал исполнять Воробей. Он с ужасом видел, как высовываются из ямы рта синевато-розовые языки, покрытые у основания желтоватым налетом, и закрывал глаза.

— Когда причащаются,— сказал святой отец.— Но тебе необязательно это делать. Устроимся как-нибудь иначе.

— Спасибо, святой отец,— пробормотал Воробей.— Вы на меня не сердитесь?

Старик потрепал его по голове. Он улыбался.

А еще капеллан с выпученными глазами...

— Он так всегда на нас смотрит, как будто мы только что стащили дарохранительницу,— сказал однажды Ботош.

Вероятно, эти выпученные глаза у нового капеллана отроду. Но только он и весь был такой — недобрый, колючий. Улыбался только на кафедре, да еще если по должности его никак нельзя без улыбки — иногда, беседуя с прихожанами, улыбался их детишкам (ведь и Иисус Христос сказал: «Не препятствуйте им приходить ко мне»), ну, и если в кои-то веки попадался на глаза епископу, ему, наверное, улыбался тоже. Но что это была за улыбка! Дети, увидя ее, разбежались бы кто куда.

У капеллана были не волосы, а щетина — большая часть его жизни проходила под знаком борьбы с волосами, ибо каждые десять минут он смачивал их водой и причесывал, только что не приклеивал к своему плоскому черепу проволочные пряди. У него была сплюснутая голова, нос картошкой, а над ним — выкаченные глаза, словно два шарика для пинг-понга; под жирными, толстыми, совершенно прямыми губами — крошечный мягкий подбородок. Сплюснутая голо-

ва была притом велика и как бы вдавлеиа в плечи, будто его одиажды крепко стукнули по ией, так что шея навсегда вошла в грудиую клетку. И еще обезьяиья физиоиомия капеллана вечио пылала обидой, как будто его то и дело обижали и оскорбляли смертельио. Отчего это было так, мальчики решить ие могли.

И потом, ои касался любых предметов как-то безлюбовио.

Воробей прежде не поиимал, что зиачит брать вещь безлюбовио. Одиажды — оии играли тогда во дворе с парикмахером — Воробей влетел иа кухию напиться и с ходу схватил стакаи. Тетя Тэта сказала с упреком:

— Ты возьми его с любовью, сыиок.

Воробей, ие поияв, уставился иа нее:

— Что взять?

— Стакаи. Вещи тоже любить иадо. Солонку, ложку, тарелку...

Воробей ие понимал ее слов, бес противоречия становился иа дыбы, но тетя Тэта продолжала:

— Я вот всегда смотрела еще там, дома, с какой любовью твой отец берет в руки вилы, упряжь... даже ком земли иа пашие и тот ои берет с любовью.

Ссылка иа отца лишь заставила Воробья промолчать, ио ие убедила. Но после этого ои стал иаблюдать, как люди берут в руки разиые вещи. К парикмахеру приглядывался, Эдгару Бретцу и к тете Тэте тоже. Но иичего ие заметил такого, из чего можио было бы заключить, что оии берут в руки вещи с любовью. Берут и берут, как и всякий другой.

Но потом ои увидел этого капеллаиа и сразу поиял, о чем говорила тетя Тэта. Капеллаи дотрагивался до любого предмета брезгливо, словио решительио все выпачкано в грязи. Словио ему уиизительио касаться чего бы то ни было — иапример, ботиики ои брал в руки с таким видом, что хотелось от имеии всех сапожников иа свете дать ему хорошего пиика под зад.

В тот день, войдя в ризиицу, мальчики тотчас почувствовали иа себе злобные чары противной физиоиомии капеллаиа. Они смотрели иа него как заворожеиные, хотя и без него

было иа что обратить виимание: в ризнице стояли пять облаченных миииетраитами делаваров. Оба Шнейдера, Кеси-Хайош, Лаци Эрдёг и Енё Надь. Воробей и Ботош растеряиио топтались в дверях, переминаясь с иоги иа иогу, оии ие понимали, что произошло. Когда служилась праздничная литаиия — для чего требовалось шесть миииетраитов,— кроме Воробья и Ботоша облачались еще четверо ребят с улицы Газ и Сенной площади. Все четверо здешние, с городской окраиины. Но из тех, что стояли сейчас перед иими, только Лаци Эрдёг жил поблизости (им и прииадлежал тот дом с запущениым садом, где действовали делавары), остальиые проживали в центре города либо в райоие вилл.

«Оии думают, это корчма,— кипя злобой, сказал как-то капеллаи.— Если еще раз кто-иибудь войдет в храм, одетый в отрепья, я его вышвырну!» Старый священиик посмотрел иа иего пристальио, словио желая разглядеть истиниый источиик ярости капеллаиа. «Это ведь пролетарский райои, сыи мой,— сказал ои.— Церковь Сердца Иисусова — для бедиоты».

И тем ие меиее миииетрантами оделись делавары. Вошел святой отец, тоже с иедоумеиием посмотрел иа иезиакомые лица, перевел вопросительиый взор иа капеллаиа, ио капеллаи и не подумал дать священнику какие-либо объясиеиия. Резко и коротко он бросил Ботошу:

— Облачайся!

Было ясио, что он обращался к Ботошу, и Шаии это, коиечио, поиял, однако Воробей стоял с иим рядом, и потому вопрос прозвучал как будто естествеиио.

— Ты,— сказал капеллаи,— а ои пусть убирается прочь.

Воробей прижался спиной к стеие храма.

— Это почему же? — спросил святой отец иедовольио, ои ие любил подобиые речи.

— Его преподобие Эдгар Бретц, классный иаставник, прислал сказать, чтобы этого в министраиты ие брали. Он опозорил цистерциаицев. Водит дружбу со всякими иегодяями.

Ботош вспыхнул, его веснушки светились.

— Со мной,— сказал он,— он со мной водит дружбу.

Капеллан подошел к святому отцу, наклонился к самому уху и шепотом стал объяснять ему что-то; святой отец отвернулся, как будто ему неприятна была близость капеллана, однако слушал его.

Воробей боком, вдоль стены, медленно двинулся к выходу, однако Ботош схватил его за рукав.

— Погоди,— сказал он.

Мальчики стояли рядом, плечом к плечу. Быть может, ждали, что на лицах делаваров появится насмешливая гримаса, но нет, их лица решительно ничего не выражали. Равнодушно и будто ничего особенного не случилось, стояли делавары у противоположной стены ризницы.

Воробью хотелось перехватить взгляд святого отца, но старик не смотрел на него; вот он поднял голову, но его глаза блуждали по потолку, как будто там начертаны были единственно спасительные истины.

Однажды они уже стояли здесь вот так, униженные, плечом к плечу. В этой самой ризнице. В воскресенье две мессы следовали одна за другой, первую служил капеллан, вторую же, сразу после него, святой отец. У капеллана были свои министранты, старик же охотней всего брал служками Воробья и Ботоша. Мальчики вошли в церковь во время проповеди — на кафедре стоял капеллан и читал в полный голос. Воробей еще подумал: как смело он говорит, а ведь доведись взойти на кафедру ему, Воробью, он-то, уж конечно, мямлил бы и заикался. Тогда они капеллана почти не знали, он появился в церкви лишь несколько дней назад.

Ребята на цыпочках прошли вдоль почти пустующих скамей, проскользнули под кафедрой и, войдя в ризницу, тотчас начали облачаться.

Через открытую дверь им было видно, как капеллан повернулся лицом к прихожанам, отпуская их. Ботош успел еще повторить за ним вполголоса: «Ite missa est»*, и тут капеллан стремительно ворвался в ризницу; его обезьянье лицо все перекосилось от бешенства.

* Ступайте, месса окончена (*лат.*).

— Болваны, мужичье! — завопил он.— Вы у меня живо отучитесь бегать по храму, когда я читаю проповедь!

И, влепив Ботошу пощечину, шагнул к Воробью. Воробей невольно прикрыл лицо рукой.

— Руки вниз! — прошипел капеллан.

Не успел Воробей опустить руки по швам, как от крепкой пощечины отлетел к стене.

Старый священник, онемев, похолодев, смотрел на эту сцену; он было вскинул протестующе руку, но, поняв, что опоздал и пощечины уже не вернешь, опустил ее и промолвил только:

— У нас здесь драться не принято.

Но Ботош уже сорвал с себя пелерину и, гневно сверкая глазами, торопливо развязывал шнурки стихаря; Воробей тоже лихорадочно снимал облачение.

— Дети мои, сейчас начнется богослужение,— сказал святой отец.

Он подошел к ним и положил руки им на плечи.

— Ну-ну... Гнев — дурной советчик.

Мальчики перестали разоблачаться, они напряженно смотрели в кроткое лицо святого отца.

— Ничего подобного больше не повторится. А вы в другой раз не ходите по церкви во время службы.

Мальчики опять надели пелерины.

Воробей и сейчас верил, что святой отец одним мановением наведет порядок, он восстанет против несправедливости. Ведь сколько задушевных часов провели они вместе в часы рассвета перед алтарем в едва освещенном церковном приделе или в утренние часы, когда оконные витражи сверкают и переливаются под яркими солнечными лучами, а по стенам перебегают теплые отсветы. Святой отец защитит их.

Наконец капеллан перестал клокотать. Святой отец потер виски, словно мучимый острой болью.

— Ты далеко пойдешь, domine*,— сказал он капеллану, охнув, спустился с помоста, на котором стояла дарохранительница, шагнул к Воробью, двумя пальцами коснулся его

* почтенный (*лат.*).

подбородка, чуть приподиял с самым растеряниым видом и тут же отпустил; иа его лице, казалось, застыл вопрос: «И что же теперь будет?» Мальчик ие разглядел на ием ободреиия, иа миг ему показалось даже, что глаза святого отца смотрят враждебио, ио в иих была только печаль, оиа прозвучала и в его голосе:

— Тебе лучше уйти, сыиок. Спасибо за помощь. Мы с тобой провели ие одио хорошее утро вместе, ие правда ли?

Воробей постарался улыбиуться.

— Да, святой отец. И вам тоже спасибо.— У него чесались кожа на голове, коичик иоса, как всегда перед слезами. «Ты ие задашь реву, Воробей!» — приказал ои себе.

— Пошли! — свирепо сказал Ботош.— Восславим господа, святой отец.

— И ты уходишь? — спросил священник, но по его тону ясно было, что ииого он и ие ожидал. Если гоият Воробья, Ботош уйдет с иим.

— Да, святой отец,— сказал Шани.— И больше ие приду. Так что завтра утром меия ие ждите.

Свящеиииик хотел что-то сказать, ио капеллаи перебил его:

— Ступай, ступай! Делегацию за тобой посылать ие будем! Сопляк!

Святой отец вздрогиул, повернулся к капеллаиу спииой и, словно ища спасеиия, взошел иа помост, к дарохранительиице.

Мальчики покииули ризиицу, пробрались сквозь толпу к двери и вышли из прохладиой церкви иа волю; их сразу охватило весеиииим теплом. На последией ступеиьке оба остаиовились как по команде и обериулись растерянные; они смотрели иазад, виутрь храма, просто не представляя, что же им теперь делать и куда податься. По их лицам скользили заплутавшие отблески свечей и ламп, освещавших храм; они стояли и слушали, словио никогда ие бывали в церкви, и когда виутри загудел оргаи, сошли со ступеией и в сгустившихся сумерках зашагали прочь.

Воробей знал: сейчас к ним должен выйти Эдгар Бретц и объявить, что школа стала государственной. Интересно, какое у него будет при этом лицо, думал Воробей.

Всякий раз, как он думал об этом, в душе приятно щекотало. Теперь школа его не давила, он весело и даже, пожалуй, заносчиво бегал взад-вперед по залитым солнцем широким лестницам, словно сбросил с плеч гнет, освободиться от которого не чаял до скончания века. Со злорадством он предвкушал падение злого монаха.

Эдгар Бретц вошел к ним понурый, можно даже сказать, немного сгорбленный; он снял очки и стал протирать их, словно хотел оттянуть время.

— Наша старая школа больше не принадлежит ордену цистерцианцев,— проговорил он бесцветным голосом, и не было в его тоне ни пафоса мученика, ни визгливого возмущения; он стоял перед ними, погруженный в великую печаль, обездоленный, павший духом.

И тотчас волна сочувствия взметнулась в душе мальчика, и было в тот миг Воробью, наверное, тяжелее, чем Эдгару Бретцу.

Парикмахер стоял посреди своего заведения и яростно размахивал руками.

— Это они умеют,— кричал он,— со святой миною жрать в три горла, проповедовать бедность и тут же пинками прогонять бедняков! Небось твоего болвана приятеля ниоткуда не гонят, не шпыняют почем зря. И от папаши его не воротят нос, беседуют по-хорошему, потому как он какая-нибудь да шишка! Вот скажи, кто у твоего приятеля отец, ну, кто?

— У какого приятеля?

— У того, что рядом с тобой сидит.

— Не знаю,— растерянно ответил мальчик.

— Да уж точно что не мужик, не слесарь, даже не парикмахер. Не то и он вылетел бы из Сердца Иисусова как миленький, дрянь они все, эти ваши поганые любимчики, ваши святые попы. Чего рот разеваешь? Я не Христа твоего ругаю, с ним мне делить нечего. Он-то по крайней мере выгнал

менял из храма. А вот ваш возлюбленный святой отец, ваш дражайший, добрейший святой отец — он выгнал вас!

— Не он,— слабо возразил Ботош.

— Не он, не он... ну, не он, так другой святой в сутане. А почему же ваш-то святой отец не восстал против того, почему не сказал, что это хорошие ребята и я, мол, не позволю их выгнать?! Да потому, что у одного из вас отец — слесарь чумазый, а у другого — мужик-хуторянин, без роду без племени. Вот почему. Да и то — не гнать же им из-за таких, как вы, сынка господина бургомистра, сынка фабриканта и молодого барончика в придачу. А уж перед ними-то они еще как стелются, подлипалы чертовы, чтоб им ни дна ни покрышки! Но ничего, погодите немного, увидите, как они полетят вверх тормашками из школ, что воровством себе присвоили, из поместий своих постылых да имений! Только пятки засверкают! Не бойтесь, вы еще и не то увидите!

Воробей восторженно смотрел на разбушевавшегося парикмахера, близко к сердцу принявшего нанесенную им обиду, и тогда впервые подумал, как будет злорадствовать, когда Эдгар Бретц выйдет перед классом и объявит: цистерцианцы больше не хозяева в школе!

И вот поди ж ты, смех, да и только: Воробью тоже кажется, что у него что-то отняли...

Некоторое время все оставалось без перемен, разве что в школе появился новый директор*, краснолицый молодой человек в элегантном цивильном костюме. В первый же день он обошел все классы и везде говорил, что настал конец вековечному рабству, теперь в Венгрии все принадлежит народу и бедняку не придется больше жить в нищете, ходить босиком, с детских лет работать. «Теперь все будет по-другому!» — восклицал он и размахивал руками; его сопровождали два мрачных учителя в сутанах.

* Национализация церковных и монастырских школ (в Венгрии их было свыше пяти тысяч) произошла в июне 1948 года, еще при коалиционном правительстве, и проводилась иногда с серьезными социально-психологическими издержками.

Некоторое время учить продолжали все те же монахи, но школа стала иной, более шумной, все стало каким-то зыбким, неокончательным, даже заданные на завтра уроки — необязательными.

Затем в один прекрасный день был объявлен в гимназии общий сбор. Классы, один за другим, вывели во двор. Учителя-монахи стояли рыхлой группой в сторонке, возле колонны восьмиклассников, показывая, что находятся здесь лишь по приказу, точно так же как любой учащийся школы. Краснолицый директор и еще несколько цивильных поднялись на сколоченные наскоро подмостки. Он говорил почти то же, что и в день своего появления, на одном дыхании, так же жестикулируя, затем вытащил какой-то список.

— По некоторым соображениям мы решили,— сказал он,— половину наших учащихся перевести в две другие школы: младших — в среднюю школу на улице Шейем, старших — в государственную гимназию. Сейчас я прочитаю список тех, кто перейдет в две названные школы.

Слухи об этих переменах уже ходили по городу, что-то знал о них и парикмахер.

— Попам достанутся пролетарские детки,— говорил он.— Прежде-то они все нос воротили, а теперь вот извольте, полюбите и вы бедняков! Маленькие графья да отпрыски их благородий будут вместе с пролетарскими детьми учиться. Так-то оно и должно быть по справедливости, до сих пор им все сливки доставались, пусть теперь и опивки попробуют!

Директор читал список. Начал с первого класса, где учился Воробей, и уже на букве «б» — хотя его-то фамилия была в конце алфавита — Воробей понял, что он попал на улицу Шейем. Список их класса начинался так: Аба, Арвалиш, Байза, Белезнаи, Битто, Бицо, Борбаш, Бёс... Аба — сын помещика, у Арвалиша отец — советник муниципалитета, Байза — сын главного нотариуса, Белезнаи — барон, Бицо — крестьянин, Битто — сын офицера, Борбаш — крестьянин, Бёс — подкидыш. Из них на улицу Шейем попали Бицо, Борбаш, Бёс. И Воробей.

Директор монотонно читал список, названные выходили

из строя и растерянно топтались перед помостом.

Директор уже вызывал шестиклассников. К этому времени вся школа гудела, чуть ли не после каждого имени всплескивалось недовольное ворчание, иной раз раздавался громкий выкрик; краснолицый директор несколько раз поднимал глаза от списка и сердито кричал: «Тихо!»

Когда он дошел до седьмого класса, возмущение вырвалось наружу, из строя выскочил паренек с цыганским лицом, подбежал к помосту и крикнул прямо в лицо ошеломленному начальству:

— Это несправедливо! Почему переводят только одних бедняков? Среди них ни одного барона — почему? Просим ответить!

Директор побагровел.

— Я ничьих советов не просил! — заорал он.— Будет так, как мы решили! Сопляки! Ну, погодите, я вас приберу к рукам, если это не сумели сделать их преподобия!

Учителя-монахи с каменными лицами стояли возле колонны восьмиклассников, как будто ничего не слышали, ничего не видели. Даже когда весь двор взревел в ответ на грубый окрик директора, ставшего лиловым от ярости, они не пошевельнулись. Восьмиклассники бросились к помосту, тесня туда же и первоклассников. «Сами вы сопляк! Со своими приятелями так разговаривайте! Дурак! Болван!» Воздух гудел от яростных выкриков. В этом шуме и гаме малыши тоже словно с цепи сорвались, двор угрожающе бурлил, все словно взбесились, стоявшие на помосте испуганно смотрели на гимназистов, лиловая физиономия директора побелела. Казалось, еще мгновение, и все набросятся на них, но тут позади цивильных на помост поднялся Тиктак, рукой отстранил директора и стал перед бушующими детьми. Он не произнес ни звука, и все-таки вмиг воцарилась глубокая тишина; в этой немой тишине под порывами ветра уныло хлопала дверь гимнастического зала.

— Все по местам,— сказал Тиктак, и бесформенное месиво тотчас распалось, образовав стройные колонны.— Не забывайте, дети,— сказал Тиктак, не повышая голоса,—

не всегда все свершается по вашему хотенню. Да нсполнится воля божья!

Днректор злобно посмотрел на него, но оборвать не посмел, к тому же Тиктак уже сошел с помоста н смешался с учителями-цнстерцианцами. Опять началось монотонное чтение, нмена падалн во двор одно за другнм, но теперь встречалнсь полной тншнной, названные безмолвно покндали строй и становнлнсь в новые колонны — тех, что переходнли в школу на улице Шейем н в государственную гнмназию.

— У кого-ннбудь есть вопросы? — спроснл днректор, тоном давая понять, что вопросов нн у кого быть не может.

Классы стояли безмолвно, пожалуй оскорбленно, н не скрывалн отчужденности. Днректор уже было поднял руку, чтобы отпустнть всех, как вдруг средн первоклассннков началось какое-то двнжение; Воробей обернулся н увидел: нз нх строя вышел Гундрум и остановился перед помостом.

— Я тоже хочу перейтн в школу на улице Шейем,— сказал он.

— Почему? — спросилн его сверху.

— Так. Хочу перейтн туда.

— Это еще что за «хочу — не хочу»? — заорал днректор, несколько осмелевшнй оттого, что Гундрум вышел нз колонны младшего класса.— Марш на место!

Гундрум спокойно перебросил через плечо затянутые брючным ремнем учебннкн, повернулся и не торопясь зашагал к воротам с таким видом, словно решил ннкогда в жнзнн не переступать порога какой бы то нн было школы.

— Почему ты не прнслужнвал во время мессы? Ты же собирался? Разве не так? — спросила тетя Тэта, вешая пальто в шкаф: она только что вернулась из церквн.

— Меня прогнали. Мне больше нельзя быть министрантом.

Тетя Тэта вздрогнула, быстро повернулась к нему, по глазам ее было видно, что ей чудятся за этой вестью какнето ужасные прегрешения. Воробей нспугался, он н сам уже

считал себя повинным в неведомых, но тяжких грехах.

— Я ничего не сделал, тетя Тэта, я ничего, ничего не сделал! — закричал он отчаянно.

— Что они сказали? Почему?

— Сказали, я вожусь с негодяями.

— С какими негодяями?

— Дорогая тетя Тэта, я только с Шани Ботошем вожусь, вы же его знаете, только с ним дружу.— Вдруг его голос зазвучал с ненавистью: — Потому что мы бедные, вот почему! Потому что бедняка всякий пнуть норовит!

Это были слова парикмахера, Воробей поглядел на тетю Тэту: он не знал, можно было так говорить или нет.

— Ну что ты, малыш! — укоризненно сказала тетя Тэта.— Святой отец любит тебя. Он всех бедных любит.

И сразу заплакала, как человек, который и сам понимает, сколь он беспомощен; утирая слезы, она подошла к фотографии Дюсики.

— Только ты возвращайся домой поскорее, Дюсика, поскорей возвращайся! — И повернулась к Воробью: — Он бы нас от всех защитил. Ты не бойся, он нас в обиду не даст.

Воробей встал, подошел к своей старой тетке, взял ее руку.

— Вы только не плачьте. Он обязательно вернется.

— Ну конечно, вернется! — воскликнула тетя Тэта, глядя на племянника с отчаянием и надеждой, как будто слова Воробья могли решить судьбу ее Дюсики.

— А то как же! — сказал Воробей.

Он уже лег, когда тетя Тэта подошла к его кровати.

— Это не из-за ребят из исправительного? — спросила она.

— Вы про что?

— Ну, что тебя к службе не допустили. Не из-за того мальчика, о ком ты рассказывал? Который отца своего ограбил?

— Бандит,— сказал Воробей.

— Да, да, Бандит!

Воробей сел на постели.

— Мне Бандит нравится,— сказал он.

— Но ведь он грабитель, обокрал собственного отца! Тебя из-за этого прогнали, сыночек, так и знай. Ой, боже мой, я же говорила, не якшайся ты с этими, из исправительного!

— Он не крал, неправда это,— сказал Воробей.— Я видел, как ребята жребий тянули, кому выбирать, Бандит спрятал камешек в правой руке, а Тыква по левой руке ударил...

— Тыква? Кто это?

— Тоже из исправительного. И тогда все стали кричать, что Бандит схитрил, что у него и в другой руке нет ничего. А Бандит сказал: ладно, будь по-вашему, я схитрил, можешь ты выбирать ворота. А я видел, как он выбросил камешек из другой руки! Потому что вовсе он не хитрил, у него был камешек!!!

— Не поняла я ничего, очень ты путано рассказываешь, сыночек. А только люди говорят, что он обокрал своего отца.

— Неправда! Не было этого!

— Ну, хорошо, хорошо, спи спокойно. Помолись и спи.

Воробей видел отца Бандита. В тот день они опять играли на площади. Глава Семьи был судьей. И вдруг Бандит выбежал из ворот, вытянулся по стойке «смирно» перед Главой Семьи.

— Здесь мой отец,— сказал он.

Глава Семьи приостановил матч.

— Где?

Бандит указал кивком головы.

С улицы Газ к ним приближался мужчина в шляпе «жирарди», в белых брюках; в левой руке у него была тонкая трость. Он пожал руку Главе Семьи, помахал мальчикам.

— Приветствую всю компанию,— сказал он, явно ожидая восторгов по поводу того, как по-свойски с ними держится.

— Можете взять сына на час,— сказал ему Глава Семьи, но Бандит не дал ему договорить:

— Матч не закончен.

— Ну-ну, поиграйте,— несколько смешавшись, сказал «жирарди», с высокомерным видом играя тростью.

Бандит вернулся в ворота, а его отец улыбнулся Главе

Семьи, отчего его губы стали похожи на гусеницу, и сказал:

— Вы с ним построже, два-три подзатыльника ему явно не повредят.

— У нас никого бить не принято,— ответил Глава Семьи и отошел, словно его призывали дела.

Опять стали гонять мяч, отец Бандита некоторое время потоптался еще у края площадки, иногда даже кричал что-то поощрительное, но ребята не обращали на него внимания. Воробей сгорал от стыда: как можно обращаться так с человеком! Хуже чем с собакой!

Когда он в следующий раз обернулся, отца Бандита уже не было. Воробья почему-то трясло, он побежал к воротам, остановился возле Бандита, дрожащим голосом спросил:

— Это был твой отец?

— Он самый,— сказал Бандит и вдруг заорал бешеным голосом: — Нельзя же так, господин директор, чего он путается под ногами, играть невозможно!

И Глава Семьи строго сказал:

— Ты зачем, мальчик, вратарю мешаешь?

Большой совет закончился, индейцы с Великим Вождем во главе отошли от стены и направились к пленникам.

— Идут,— сказал Воробей.

— Плевать я на них хотел,— буркнул Ботош.

— Был бы здесь Дюсика, он бы им показал,— вне себя от ужаса прошептал Воробей так тихо, что Ботош, вероятно, его не услышал.

С самого полудня они с Ботошем сидели на бутовой стене станции, превратившейся после бомбежки в развалины. Сквозь грязные окна дощатого строения, временно заменявшего станционное здание, им видны были суетившиеся пассажиры и длинные бумажные змеи, которые быстро накручивались на желтые колесики; услышав прерывистую морзянку, мальчики обрадовались, почему-то им показалось, что крохотные точки и черточки несут добрые вести.

Время от времени прибывал поезд, паровоз, громко пыхтя

и окутываясь клубами пара, останавливался, старухи с огромными узлами, крестьяне в сапогах и шляпах, торопясь, слезали с высоких подножек, отчужденно оглядывали развалины, искали глазами, где выход.

— Что, и с этим поездом не приехал? — спрашивал Ботош.

— Они на товарняках приезжают. Старший брат нашего Неки тоже на товарном приехал,— отвечал Воробей.

Пока не было поездов, по станционным путям сновал двугорбый маневровый паровоз, железнодорожники махали красными флажками, кричали: «Из тысяча двадцать четвертого два на восьмой» и тому подобное. Мальчики понимали: здесь ни одного слова не произносят впустую, удовольствие от хорошо отлаженной работы захватило их, к вечеру оба чувствовали себя настоящими железнодорожниками.

— Гляди! Товарный!

— Ну, уж это будет тот самый!

Большой товарный состав миновал станцию, не остановившись, на платформах проплывали танки, пушки, и на каждой платформе солдат с примкнутым штыком. Все было похоже на кинокартину, товарняк шел мимо, увозя недвижимые танки, недвижимых солдат.

Между рельсами поползли тени, толстый железнодорожник обходил стрелки, ступая неторопливо и важно. У каждой стрелки открывал прямоугольную дверцу железнодорожного фонаря, от его огня зажигал бумажный жгут, совал жгут в фонарик стрелки, что-то делал там, и полоска земли вокруг стрелки освещалась.

Прибыл пассажирский поезд, люди высыпали на рельсы, мальчики, напряженно вытянув шеи, всматривались в полумрак. Мимо шагал человек в солдатской шапке и солдатской шинели, через плечо перекинута веревочная лямка рюкзака.

Мальчики соскочили с каменной стены, Воробей подбежал к незнакомцу.

— Вы не из плена едете?

— Точно,— сказал мужчина.

Лицо у него суровое и небритое, глаза усталые, тусклые.

— Вы один? Другие с вами не приехали? — с надеждой спросил Воробей.

— Отчего ж? И другие приехали,— сказал тот,— только выходили кто где, все по домам разбрелись. У кого есть он, дом.

— Вы такого Дюлу Халаса не знаете?

Мужчина подумал, покачал головой.

— Он в какой части служил? — спросил, помолчав.

— Не знаю,— испуганно отозвался Воробей,— он младший сержант был.

— А когда в плен попал?

— В сорок втором.

— На Дону?

— Ага. В излучине Дона.

— Вон что! — протянул мужчина.— А бумагу на него вы получили?

— Получили,— сказал Воробей.— Там написали, будто погиб. Но только он не умер, это точно.

— Кто он тебе?

— Дядя.

— Нет, его не встречал,— сказал мужчина и погладил Воробья по голове.— Но только нынче поездов больше не будет, так что ступайте уж домой.

— Мы еще подождем немножко,— сказал Воробей.— Вдруг да придет.

Они опять взобрались на ограду, с полей прямо в лицо им ударил холодный ветер. Он вошел бы первым, Дюсика подождал бы на кухне. «Кто там?» — спросила бы тетя Тэта...

— А ты его хоть узнаешь? — спросил Ботош.

— Еще бы! У него волосы темные,— сказал Воробей.

Станция затихла, маневровый паровозик, устало пыхтя, въехал в уцелевшее паровозное депо. Пассажиры теснились в дощатой времянке, иногда слышались оттуда взрывы смеха, по бледно-желтому окну перебегали тени. На Камышовом болотце завел свою монотонную песню хор лягушек, позади мальчиков среди цветущих сорняков стрекотали кузнечики.

Они прислушивались: не донесется ли издали шум приближающегося поезда. Монотонные звуки слились в тишину — и не было уже ничего вокруг, кроме этой оглушительной тишины.

Соскользнув с ограды, мальчики поплелись домой по гранитной брусчатке улицы Лёвёльде. Высоко над ними, в невероятной дали сияли холодные, равнодушные звезды.

Перед ним стоял Эдгар Бретц.

— Ну, как тебе нравится на улице Шейем? — спросил он.

— Много нас. Драк много,— ответил опутанный веревками Воробей.

— И друг твой там же учится?

— Нет, он в другой школе, в заводском поселке.

— Ну-ну,— сказал Эдгар Бретц.— Хотите стать делаварами?

Воробей вскинул голову, изумленно посмотрел на монаха:

— Я?!

— Ты. Вы оба.

— Да говори же! — закричал Мики Шнейдер.

— Не хочу,— сказал Воробей.

— Останешься Бледнолицым?

— Да,— сказал Воробей.— И отец все равно заберет меня отсюда.

Колеса вагона громко распевали под ними свою песню. Все вокруг было залито солнцем, мимо проплывали поля пшеницы. Город таял вдали, словно дурной сон. Воробей, улыбаясь до ушей, обернулся к отцу.

— Ну что, малыш? — ответно улыбнулся отец; в его голубых глазах отражались убегающие назад картины.

— Просто так. Конец! — сказал Воробей.

Отец подался вперед, отвернувшись, смотрел в окно, он был тоже счастлив, что дает сыну ощущение защищенности. Он был счастлив и все же печален: как сказать такому вот крохе, что жизнь трудна и этому никогда не будет конца?

Лошадь в доме

Свидетелей иашлось даже несколько: продавец, который торговал чернослнвом, довереиный по кварталу, скупщик крадеиого, старый плотиик — известиый мастер лежни в виииых подвалах ставить — и грузчик. Все оии видели лошадь. В бурьяие по грудь, лошадь шла оттуда, где была старая свалка. А те двое — мужчина, стройный как кипарис, и киопка-малыш рядом с иим,— те двое стояли на бетонке улицы Охедь и, увидев лошадь, громко закричали от радости. Лошадь тотчас перешла иа рысь. Старый плотиик утверждает, будто и она заржала радостно. Оиа, лошадь. И стали они все трое обииматься прямо иа мостовой. Мужчина-кипарис, киопка-малыш и лошадь. Продавец чернослива божился, что лошадь тоже их обиимала, мужчиу и мальчика.

Следователя из важиого учреждения это не иитересовало. «Не имеет отиошения к делу» — так он сказал. И масть лошади оставил без внимаиия, тем более что каждый свидетель утверждал свое. Продавец чернослива говорил: оиа серая в яблоках, довереиный по кварталу — гнедая, скупщик крадеиого — игреиевая; старый плотиик твердил, что оиа была черная. А грузчик клялся, что сииняя.

— Сииих лошадей не бывает,— сказал следователь из важиого учреждеиия.

Ему было ясно одно: мужчина-кипарис, киопка-малыш и лошадь дружио зашагали домой. Тут свидетели в показаииях ие расходились. Уздечки на лошади ие было, оиа выступала между мальчиком и мужчиной. И все трое о чем-то беседовали. По крайней мере это утверждал грузчик.

Втроем подойдя к большому жилому дому, оии стали подыматься по лестнице: мальчик впереди, за иим лошадь, потом мужчиа. Троица протопала по галерее третьего этажа и вошла в квартиру.

— И там оии гремят, кричат, веселятся, ржут и цокают

копытами,— строго подвел итог следователь из важиого учреждения.

Свидетели согласио кивали.

Ровно в полдеиь следователь позвоиил в дверь квартиры.

— Вы держите в доме лошадь!

Киопка-малыш — ои был отцу до бедра — и мужчииа-кипарис перегляиулись. Вокруг глаз у иих разбежались веселые лучики. Глубже стали ямочки иа щеках малыша.

— У нас? Лошадь? — лукаво воскликиули они в один голос и радостно засмеялись.

Следователь из важного учреждения отстранил их красивым округлым движением руки и вступил в передиюю. Он прииюхался.

— Пахнет лошадью,— объявил он торжествующе.— Где вы ее держите?

В передией действительно пахло лошадью.

Папа-кипарис возразил возмущеиио:

— Но это запрещеио! И как только вам в голову пришло, комиссар, будто у иас в квартире — иа третьем этаже! — живет лошадь?!

— Серая в яблоках! — воскликиул следователь.

— А-а-а! — протестующе вскричали оба: кипарис-папа иад головою следователя, киопка-малыш — у его колеи.

— Гнедая!

— О-о-о! — раздалось в ответ.

— Игреиевая!

— А-а-а!

— Чериая!

— О-о-о! — сверху и сиизу.

Глаза у следователя сузились, ои весь подобрался, принюхиваясь к лошадииому духу.

— Может, синяя? — спросил ои с опаской.

У папы и мальчика опять побежали лучики вокруг глаз.

— Сииия? Сиих лошадей ие бывает,— сказал папа.

— Синих-апельсиих,— сказал киопка-малыш.

Оии летели. Летели в тысяче световых лет иад головой следователя.

А он как одержимый носился по квартире. Заглянул на кухню, в чулан, в детскую, в ванную, в большую комнату. Лошади нигде не было.

— Но запах! Ведь пахнет же лошадью! — кричал он и опять принимался бегать по квартире.

На кухне ушла в стену синяя грива. Он кинулся, вот уже ухватился — а там и нет ничего. В комнате сверкнул перед ним синий лошадиный глаз, в чулане блеснуло синее копыто, в ванной мелькнули синие бабки, в передней — синий круп. Сверкнул и исчез. А потом послышалось следователю даже синее ржание.

Лошади он не нашел.

— Напрасно вы ищете, комиссар, сами же понимаете, в спичечной коробке ее не спрячешь,— сказал кипарис-папа.

— А она и вон там еще, в солонке,— расшалился малыш.

Следователь опять пустился в погоню. Он хотел видеть все помещения квартиры одновременно. Но он все равно ничего не нашел. Наконец сказал угрюмо:

— Официально подтверждаю: лошади в доме нет.

И чуть ли не кубарем слетел с лестницы. По улице он тоже бежал. Не смея обернуться назад. Потому что знал: в окне третьего этажа он увидел бы три головы — кнопки-малыша, мужчины-кипариса и синей лошади.

О господи, надо же — лошадь в доме!

Мой крылатый человек

Писать — мучение. А уж писать плохо! Когда после всех терзаний, усилий, зубовного скрежета написанное глядит на тебя, подмигивая, и ухмыляется. Да что там ухмыляется! Гогочет! «А ведь задумал ты все иначе»,— говорит оно мне с издевкой и бренчит никудышными фразами, в них болтаются, постанывая, слова и никак не найдут себе места.

Этот мой крылатый человек уже в десятый раз подвел меня.

Никак не могу его написать.

Подавленный, гляжу на исписанный лист: буквы — что скопище клопов.

— Папа, ты что-нибудь написал?

Это дочка. Ей семь лет, учится во втором классе.

— Н-да,— мямлю пристыженно.

— Сказку?

— Гм... вроде того.

— Прочитай!

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что она плохая.

— Как это — плохая?

— Да вот так. Понимаешь, я что-то надумал. Почувствовал. И захотел написать.

— И написал?

— Написал. Только получилось не то, что я думал.

— И что почувствовал, да?

— А это и вовсе не получилось. Не вышло.

— Что же ты теперь сделаешь с тем, что не вышло?

— Оно останется вот в этой тетрадке. Словно в гробу. А как-нибудь позже я за него, может быть, примусь снова. Вдруг да получится.

— И ты никому не покажешь свою сказку?

— Никому.

— И мне не покажешь?

— И тебе. Я же сказал, она плохая.

— Но мне очень-очень хочется ее послушать.

— Нельзя. Это очень-очень плохая сказка.

— Для меня никогда не бывает очень-очень плохо то, что ты пишешь. Прочитай!

Я начинаю колебаться. Право же, как это славно с ее стороны, что для нее мои произведения никогда не бывают очень-очень плохими.

— Знаешь, я никому не скажу, что ты мне читал ее.

Обещаю. Пусть это будет наша тайна, согласен?

— Ну что ж, будь по-твоему.

И я чнтаю. Мучаюсь, но чнтаю: это мне наказание.

Мой рассказ — о человеке, который очень хотел летать. И свято верил, что однажды у него вырастут крылья. Но какой же он получился у меня неинтересный — нн своего лица, нн характера, и все, что я пишу о нем, совершенно ннкчемно, никому не нужно. Однако моей дочерн это явно не мешает. Затаив дыхание, она слушает о том, как у моего бездарного человека бездарнейшнм образом вырастают крылья. Ослепительно белые крылья. Но боже мой, как я мог все это написать? Да разве так растут крылья? Какая фальшь! И тем не менее моя дочь — вся вниманне, она ждет: сейчас человек взлетнт. А взлететь он не может. Крылья неимоверно тяжелые. Он даже приподнять их не в снлах. Онн вообще ему не под снлу. И он падает, падает, сокрушенный нх космнческой тяжестью, под ним провалнвается асфальт, он уходнт в землю, все глубже, вот и последний раз сверкнул белоснежный кончик крыла, и земля над ннм смыкается...

— А потом?

— Что — а потом?

— Что было дальше?

— Ннчего. Это все.

— Но что же будет с человеком, у которого такие белые-белые крылья?

— Ты слышала. Его поглотила земля.

Она ничего больше не сказала, как-то неуверенно повернулась н вышла нз комнаты.

Дни идут однн за другим, я стараюсь запнхнуть моего крылатого человека в какой-ннбудь самый потайной угол памяти. Потом, потом... может быть... в другой раз. Сейчас я хочу одного: забыть, забыть свою неудачу! И мне это уже почти удается, неудача смнряется, становнтся не больше булавочной головкн, лежнт не шевелясь где-то глубоко, ее груз почти не гнетет меня. Но тут является моя дочь. Она чрезвычайно серьезна, даже щербинкн на месте двух вы-

павших молочиых зубов пресерьезио зияют.

— Я написала стих,— говорит она.

Ну и ну, до чего только ие доживешь иа этом свете! Дочь протягивает мне листок бумаги, вкривь и вкось исписаниый крупиыми, с воробьиную головку, буквами, они плетутся друг за дружкой, шатаются, выгибаются. Но сомиений иет: рукопись даже иа первый взгляд имеет форму стихотвореиия. Названиие — «Бабочка».

В вазе из окровавленных костей
стоит цветок.
Глубоко стоит под землей.
А в чашечке цветка
лежит
мертвая-премертвая
бабочка.
Раскинуты
разрисованные крылышки
и уже не трепещут,
только все равно
они унесут ее в небо!

Я прочитал. До меия еще не доходит самый смысл стихотворения, я спотыкаюсь иа «вазе из окровавлеииых костей».

— Откуда у тебя эта «ваза»?

— А помнишь, у Петефи есть такая самая ваза? Помиишь?

Против столь высокого авторитета мие возразить иечего.

— Вообще-то, папа, я этот стих тебе написала. И твоему крылатому человеку.

— Крылатому человеку? — Булавочиая головка где-то внутри ожила, оиа царапает, жжет.

— Да, и ему. Так ведь иельзя: ушел в землю, и все.

— А как же можио?

— Тот человек сперва провалился и падал, долго-долго падал, и вдруг оказался в большом черном дворце. В этом дворце жили семеро чернокрылых.

— Кто жил?

— Семеро чернокрылых. И твоему белокрылому человеку приходится с ними сразиться. И победить. Всех семерых.

— И он победит их?

— Ну а как же! И когда он их победит, то станет таким сильным, что наконец-то сможет поднять свои огромные крылья. И полетит. Он вылетит из-под земли и, если захочет, полетит к самым звездам.

Я сижу, опустив голову, печалясь и все же надеясь. Неужели это дитя знает о жизни больше, чем я? Да может, мой крылатый человек потому и сопротивлялся так, потому и не давался мне, что я безжалостно зарыл его в землю, не оставив хоть малой надежды? В самом деле, так нельзя обращаться даже с собакой!

— Ты понимаешь? — спросила дочка.

— Понимаю,— ответил я ей кивком, хотя должен бы крикнуть: ты спасла меня, дочь!

Где-то он бродит сейчас, крылатый мой человек? Все еще падает, ниже и ниже? Или вступил в сражение с чернокрылыми? А может, уже расправляет крылья? Где бы он ни был, лишь бы не терял надежды. Это говорит ему моя дочь.

Капкан

В корчму вошел маленький мальчик. На нем были забавно крошечные джинсы и белая тенниска с великолепным пиратским трехмачтовиком на груди; правда, корабль вышит был голубыми нитками, но в том, что он именно пиратский, сомневаться не приходилось. Взгляды сидевших в корчме невидяще скользнули над головой мальчугана, в помещении стоял неумолчный гул, рассекаемый иногда взрывами смеха, громким выкриком. Между тем малыш так и притягивал глаз, дым вокруг него словно бы поредел, пристыженно убрался подальше, к потолку, рассосался по темным углам. Дым заметил мальчонку.

Малыш огляделся. На его лице — воинственность полководцев и настороженная хитрость разведчика, действующего по тайному заданию. Он что-то замышлял. К стойке вела выложенная белыми каменными плитками дорожка, свободная от столиков. Среди белых плит, ближе к входу и чуть правее середины дорожки, сиротливо лежала одна-единственная черная плитка. Скромная, совсем не кичащаяся собой черная плитка. Кто когда-либо помышлял о ее существовании? Кто вообще хоть однажды заметил ее? Разумеется, никто.

Но мальчуган тщательно оглядел черный квадрат, наклонясь вперед, присел на корточки (у детей это получается удивительно ловко) и уперся руками в колени.

Все это продолжалось мгновение: малыш заметил у входа в корчму чью-то тень и молниеносно отскочил за одну из колонн. Вошедший, надо полагать, видел мальчика с пиратским кораблем на груди — не только то, как он отскочил за колонну, но и торчавшую из-за нее головенку. Оказалось, однако, что правила он знал. Поэтому упорно глядел в прямо противоположную сторону, стараясь держаться совершенно естественно; он оглядывал корчму, всем своим видом показывая, как сильно встревожен, и решительно не замечал торжествующую рожицу, высовывавшуюся из-за колонны.

Это был невысокий мужчина лет тридцати, склонный к полноте, но отнюдь не толстый, с приятным, улыбчивым лицом.

— И где же этот знаменитый Аль Капоне? — проговорил он еще в дверях, словно бы рассуждая сам с собой, но достаточно громко, чтобы ликующий Аль Капоне убедился, сколь превосходное выбрал себе убежище.

Мужчина сделал два шага от двери.

До сих пор наивное интермеццо было их частным делом, корчма жила сама по себе. Но едва мужчина сделал второй шаг, как все изменилось. Мальчонка выскочил из своего укрытия с торжествующим, победным воплем:

— Попался! Руки вверх!

Мужчина поднял руки и замер с самым растерянным

видом; однако было неясно, оттого ли он растерялся, что попал в плен, или просто не мог сообразить, что́ на сей раз означает торжествующее «попался!». Держа руки вверх, он искоса оглядел себя, соображая, что к чему, его взгляд скользнул сперва по левой, потом по правой ноге — и тут он явно что-то заподозрил. Его правая нога стояла на черной плитке.

— Капкан! — воскликнул Аль Капоне, и его круглая рожица сияла всей хитростью целого индейского племени, испокон веков выходившего на охоту с капканами.

Мужчина зашипел от боли и даже присвистнул, осторожно пошевелил ногой. Он явно старался оторвать ее от пола, но капкан держал крепко.

Теперь вся корчма как бы исподволь наблюдала за ними. В центре скрестившихся взглядов были мужчина с поднятыми руками и Аль Капоне. Сидевшие в глубине зала даже приподнялись, чтобы лучше видеть. Искаженное болью лицо пленника вызвало на физиономии Аль Капоне выражение некоторого сочувствия. Он наклонился, потрогал капкан и снизу вверх поглядел на свою жертву.

— Больно? — спросил он.

— Еще как! — отозвался пленник.— Лодыжка — вдребезги. Отпустил бы ты меня.

— Дань платить будешь?

— Буду. С малиновым сиропом.

— Идет,— все так же на корточках сказал Аль Капоне.— Можешь теперь опустить руки.

Движениями бывалого охотника он высвободил ногу, зажатую капканом. Мужчина, прихрамывая, подошел к стойке. Мальчик остался на месте, держа капкан в руках.

— Забрать его? — спросил он.— Или поставить опять?

— Что ж, поставь,— сказал мужчина.— По крайней мере еще кто-нибудь узнает, почем фунт лиха.

Они даже не успели сесть за столик, как в дверях показался человек в плаще-накидке.

— Теперь гляди! — шепнул Аль Капоне.

Мужчина глядел, но глядела и вся корчма. Человек

в накидке заметил устремленные на него взгляды, неловко остановился, провел рукой по узкому, как у гончей, небритому лицу. Не будь он в этой корчме завсегдатаем, не заглядывай сюда иногда и по нескольку раз на день, он, верно, решил бы, что обязан всеобщим вниманием к своей особе старомодному плащу. Словно нуждаясь в поддержке, он посмотрел на привалившегося к стойке официанта, с виду очень похожего на него самого, с таким же узким, небритым лицом; официант весело, ободряюще ему улыбнулся, но вошедший уловил что-то плутоватое, заговорщическое в его улыбке. Все же он направился к стойке, но едва сделал два шага, корчма взревела:

— Попался!

Человек в накидке застыл на месте, окончательно смешавшись. И тут с крохотного трепещущего островка тишины раздался звонкий голос:

— Ты в капкане! — Аль Капоне торжественно указывал на его правую ногу.

— В капкане? Каком капкане?

— Простите, но это... знаете, как у них, у детишек,— смущенно проговорил мужчина, сидевший за столом Аль Капоне.

И тут по узкому лицу вошедшего побежали-побежали миллионы морщинок, славных, гармонично изогнутых дужек. Нельзя было не понять: человек улыбался.

— Ой-ой! — воскликнул он.— А ты не освободишь меня?

Аль Капоне с готовностью вскочил, высвободил попавшую в капкан ногу и спросил, на этот раз человека в накидке:

— Поставить опять?

— Ясное дело,— сказал тот,— непременно поставь.

Долго никто не появлялся, один только официант ходил взад-вперед, разнося то, что заказывали посетители, однако всякий раз старательно обходил опасное место, делая большой крюк. Наконец рок все же настиг и его: убирая столик, он нечаянно сделал шаг назад и каблуком угодил на черную плитку. Опять взревела корчма. На лице человека в накидке морщинок стало еще больше, если только это возможно,

и он, по праву того, кто уже прошел боевое крещение, сказал мальчугану:

— Не выпускай его, пока не поставит мне рюмку палинки!

Мальчик вскинул глаза от стакана с малиновым сиропом и посмотрел на отца.

— Что смотришь, капкан-то твой!

— Эй, кто не желает платить, бегите! — весело крикнул кто-то.— Официант в капкане.

— Ох, отпусти ты меня поскорее,— взмолился официант с почти искренним ужасом,— сбегут ведь и не заплатят!

— А ты дань заплатишь? Вон тому дяде? — сурово спросил Аль Капоне.

— Заплачу, а как же,— торопливо ответил официант, и тогда Аль Капоне отпустил его.

Официант, старательно прихрамывая на правую ногу, подковылял к стойке и сказал буфетчику:

— Маленькую рюмку палинки вон для того дяди!

Морщинистый человек в накидке взял рюмку, приподнял ее и, глядя на мальчика, сказал:

— Твое здоровье, мальчик с пальчик!

Между тем на пороге появилась следующая жертва: вошел осанистый мужчина, сразу было видно, что подъехал он на машине,— это было видно и не только по тому, что на пальце у него раскачивался ключ от зажигания. Все следили за ним, затаив дыхание, когда же он небрежно перешагнул черную клетку, разочарованно загудели.

Потом влетел хулиганистого вида парень с волосами до плеч. Этот попался. Он замер, оглушенный общим ревом, даже немного струхнул. Впрочем, тут же и догадался, что попал в капкан, почти так же легко, как тот, в накидке. После него в капкан угодили угольщик, солдат, толстяк с медной цепочкой от часов на животе и еще парень в ушанке. С солдатом Аль Капоне пришлось повозиться, даже оказать ему первую помощь — кажется, бедняге раздробило щиколотку. Инъекция помогла сразу, к стойке солдат подошел уже молодцеватой походкой. Затем появился лысый господин с двойным подбородком, он был первый, кто ступил в капкан

левой ногой. Когда все хором радостно завопили, он тоже остановился, как и другие. Но, услышав: «Вы в капкане!» — толстяк лишь скривил рот и, буркнув: «Вот дурачье!» — прошествовал дальше.

На лице официанта было написано искреннее отвращение, когда он, подойдя к его столику и не глядя, меланхолическим тоном осведомился: «Что угодно?» Господин с двойным подбородком явно испортил всем настроение, да он и сам почувствовал себя очень неловко, когда увидел, как другие, ничего не подозревая, входили и становились жертвами западни: теперь-то он сожалел, что не позволил поймать себя в капкан.

Мужчина и мальчик поднялись из-за стола. Уже в дверях Аль Капоне обернулся и посмотрел на капкан.

— Оставим его здесь? — спросил он отца.

— А что, он у тебя золотой?

— Ага,— таинственно шепнул малыш.— И еще серебряный.

— Тогда забирай.

Аль Капоне вернулся, поднял капкан. Подойдя к отцу, переложил капкан в левую руку.

И они пошли, держась за руки. Аль Капоне шагал, чуть заметно сгибаясь влево.

— Поглядите,— сказал кто-то,— мальчонка-то идет, будто и впрямь несет в руке невесть что.

— Ясное дело, несет,— грустно сказал человек в накидке.— Разве не видите? У него же в руке капкан!

Если ты мудр, как змея

«Щелк-щелк-щелк...» Служитель щелкнул выключателями. Неоновые трубки, чуть помедлив, замигали, зашипели и обрушили на белые стены холодный, бесчувственный свет.

Скульптура бросилась мне в глаза еще до того, как лам-

пы загорелись полностью. Она мелькнула в первом же неистовом снопе лучей, и даже возвращавшийся на секунду-другую сумрак не мог скрыть ее от меня.

Ненавижу неоновый свет. В нем, холодном и белом, скульптуры выглядят грудой бездушного хлама, все человеческое и теплое слезает с них, как омертвелая кожа.

Зал был высокий. Высокий, белый, со сводчатым потолком.

Вызвать в памяти голос матери я никак не могу.

Сумрак незаметно проскользнул в комнату. Буквы поплыли перед глазами. На дворе еще не стемнело, и я какое-то время вглядывался в светлый квадрат окна, затем — в белые, голубые и красные пятна на обоях. Знакомые предметы вдруг отодвинулись, стали неясными. В темноте невозможно было уютно расслабиться, откинувшись в кресле. Все вокруг настораживало, все казалось настолько чужим, что хотелось кричать.

И тут вошла мама, воздушная, легкая — почти тень. Подошла едва слышно к столу, сняла с керосиновой лампы стекло, подышала в него, со скрипом протерла тряпкой, потом чиркнула спичкой. Пламя вытянулось, ожило под стеклом и нехотя перекинулось на фитиль.

— Керосин-то водой разбавляют,— сказала она, но по комнате уже разливался мерцающий свет. За окном сразу стало темно, и оно виделось теперь черным квадратом.

Все я помню: исцарапанную и потемневшую от времени подпорную балку, четыре стены-хранительницы, кирпичную выбеленную печь, даже мебель.

Только голос матери вызвать в памяти не могу.

«Керосин-то водой разбавляют...»

Скульптуры стояли в ряд у стены. Девушка, расчесывающая волосы, мартеновец, два Петефи, модели фонтанов, обнаженные мальчики и девочки... Материнство. Младенцы одутловатые, неживые; матери пристально вглядываются в пространство перед собственным носом, в выражении лица — нарочитая, напускная идейность. Корпусом каждая

устремилась вперед и так взмахиула рукой, будто вот-вот улетит в бескоиечиость. Да куда им! Насмотрелся я иа таких.

Я зиал, что это скульптура Геллерта Баио, и ие решался даже взгляиуть в ее сторону. Она стояла поодаль, в углу, куда ее задвииули грузчики. Они ведь не обязаиы быть цеиителями. Их дело виести да поставить, и все. Возможио, кому-то из иих и запал в душу жест, выражеиие лица или поза, ио все же скульптуры они поставили в ряд вдоль стены, в том порядке, в каком заиосили.

Я ие смел взгляиуть в угол. За моей спиной члеиы жюри обмеиивались первыми впечатлеииями, ио я слышал только обрывки фраз. Голоса проплывали мимо. Я пытался ие обращать иа иих виимаиия, одиако помимо воли прислушивался. Иштваи Вижо, вероятио, тоже ее заметил, ио молчал. Говорили только Мелцер и Бокрош, да время от времени равиодушио вставлял пустые реплики Ферко Раи.

— Начием, пожалуй,— сказал Вижо.

Стало тихо.

— Да,— согласился я,— можио начинать.

Скульптура стояла в углу.

Читала мама в очках — старых, затертых. Их подарил ей сумасшедший граф.

— Примерьте-ка, с ними-то лучше будет,— сказал ои и, пошарив в кармаие, смущенно добавил: — Одна дужка, правда, отломалась...

— Бинокль, да и только, господин граф,— радостио отозвалась мама, придерживая очки рукой, чтобы ие упали с иоса.

— Вы к ним ниточку привяжите, или сыиишка ваш проволоку вместо дужки приладит. Правда, сыиок?

— Правда,— поспешио пробормотал я, не смея подиять на иего глаза.

Сейчас уже сердце мое ие сжимается, когда я думаю о сумасшедшем графе. Я понимаю его. Вериее, понял как следует только теперь. Быть может, он вовсе и ие был гра-

фом, хотя однажды за ним приезжала машина с фамильным гербом. Супруга хотела забрать сумасшедшего графа домой, но он даже не впустил ее к себе. Так, во всяком случае, говорили в деревне. А машину с гербом я и сам видел. Видел, правда, мельком, и женщину на заднем сиденье — ее голубое платье и профиль. Я так отчетливо их запомнил, что впоследствии она не раз, словно видение, возникала перед моими глазами. Да и теперь еще я порой останавливаюсь как вкопанный, если мимо проносится такой же загадочный автомобиль. Потому что бывают загадочные автомобили. Я разыскиваю жену сумасшедшего графа, ту женщину в голубом платье и с тонким лицом, которую он не впустил к себе.

А может, он все же был графом.

Только нищим.

Появившись однажды в деревне, он в тот же день купил у Иштвана Сюра ветхий домишко на самой окраине, а назавтра уже побирался.

— Подайте сумасшедшему графу,— просил он, возникая на пороге в неизменных клетчатых брюках и сконфуженно усмехаясь.

Как-то раз, когда я был еще маленьким, я увидел его на станции.

— Смотрите-ка, сумасшедший граф пожаловал,— сказал кто-то.

Все засмеялись.

Он прошел к кассе и склонился перед окошком:

— Мне бы до Пешта... Один билет, если можно...

— Почему же нельзя, господин граф? Для вас — все что угодно,— расплывшись в ехидной ухмылке, ответил розовощекий дежурный по станции и, порывшись в бумагах, сунул ему в руку билет.

— Спасибо,— пролепетал граф.— Большое спасибо...

Растроганный, он стоял посреди зала ожиданий.

— У вас билет с дыркой,— шепнул ему какой-то мальчишка и прыснул со смеху.

Сумасшедший граф посмотрел на билет. Тот действитель-

но оказался дырявым. Он беспомощно огляделся вокруг, но повсюду плясали одни осклабившиеся в злорадных усмешках физиономии.

— Далеко ли собрались, господин граф? — раздалось из толпы.

И пока сконфуженный обладатель клетчатых брюк неуклюже вертел головой, кто-то, подкравшись сзади, заткнул ему за ленту шляпы цветок.

Прибыл поезд. Люди хлынули на перрон, а граф все стоял, изумленно уставившись на дырявый билет. Цветок с обломившимся стеблем болтался у него над ухом.

В зале остались только мы двое.

— Дяденька! — сказал я, но он не услышал, и я повторил: — Дяденька! У вас цветок на шляпе.

— И правда...— пробормотал он и, медленно подняв руку, сбросил цветок.

Мама в ту ночь разбудила меня:

— Что ты вскрикиваешь, сынок? Приснилось что-нибудь страшное?

— Да,— ответил я и зарыдал.

Смотреть работы мы стали от двери. Первой была «Молодая танцовщица».

— Вечная тьма,— язвительно скривив губы, заметил Бокрош.— Вариация в духе социализма.

— Разумеется, раз это Каллои,— пренебрежительно вставил Мелцер.— Как твое мнение? — обратился он ко мне.

— Посмотрим,— буркнул я.

Статуя была мертва. Но слово, которого от меня ждут, решающее, и это естественно: ведь я председатель жюри.

Раи уже перешел к следующей скульптуре.

— Как тебе эта танцовщица? — окликнул его Бокрош.

Раи обернулся, но посмотрел не на нас, а куда-то мимо.

— Однажды я видел танцовщицу,— сказал он.— Уж не припомню, кто ее вылепил...

«Рик Уотерс,— подумал я.— Это была статуя Рика Уотерса».

— Посмотри, сынок, что за девушка! — сказала мама, протягнвая мне газету.— Да посмотрн же какая!..

На сннмке была скульптура «Молодая танцовщнца».

— Уже видел,— равнодушно ответил я.— Фотография какой-то скульптуры.

Прошло несколько минут, прежде чем я заметил, что мама обнделась. Она разбнрала постели, и двнжения ее былн неловкнмн, угловатымн, как всегда, когда она обнжалась. Я стал наблюдать за ней, но мама легла спать, так н не взглянув на меня. Газету она бережно положнла рядом с кроватью на стул, как бы подчеркивая: «Газета — моя. Тебе все равно не понять эту девушку, как не понять н меня».

Мне давно следовало бы прнвыкнуть к ее причудам, но она всякий раз удивляла меня. Теперь еще эта девушка! Вечно у моей матушки какая-нибудь навязчивая ндея. Ну что там особенного? Обыкновенная статуя полуодетой молодой женщины. Я принужденно ухмыльнулся. Полуодетой? Сннмок я вндел лишь мельком, когда просматривал газету. Впрочем, я уже не был уверен, что девушка полуодета. Проще всего — встать да посмотреть. Но нет, надо постараться воспронзвести снимок мысленно.

Мне бывает достаточно вскользь посмотреть на предмет, чтобы позднее представить его во всех деталях. Если очень сосредоточнться, могу вспомннть даже самые незначнтельные подробности.

Эта фотография, однако, начисто вылетела из памяти. Я видел подпись под сннмком, вндел вокруг него жирную рамку, причем левая сторона ее обрывалась посередине — вероятно, типографский брак. Подпнсь была набрана курснвом. Мало-помалу я мысленно воспроизвел всю страницу газеты, н только на месте клише зняло белое пятно.

Мама уже спала.

Я вглядывался что было сил. Девушка! А ведь все началось с желания выясннть, голая она или нет. И тут я увндел линню. Сейчас уже трудно сказать, узнал ли я ее тогда, впоследствнн же помнил отчетливо: то была еще смутная, но гармоничная лнння рукн н приподнятой ноги. Временамн

оиа расплывалась, одиако во мне уже поселилась увереи-иость: эта линия совершеииа. Абстракция жеста, которая сразу и меиьше и больше, чем сам этот жест. Было в ией иекое мимолетиое успокоеиие, схожее с тем, какое испытываешь, решая сложную математическую задачу, когда вдруг вспомнится новая подходящая формула и ты знаешь, что радоваться еще раио, что оиа озиачает лишь преддверие еще более трудной работы, а все-таки радуешься. Спокойствие иесовершеиио, и в этом свое совершеиство.

Когда я теперь, долгие годы спустя, вспоминаю об этом, продираясь сквозь словесные дебри, я поиимаю, что о миогом пишу совсем ие так, как оио было иа самом деле. Ведь все произошло за какие-то доли секунды.

Я буквально *чувствовал* эту лииию, зиал, что оиа совершенна, и все же не мог воспроизвести ее в памяти. Мие мучительио недоставало ее. Я хотел ее видеть. И в равной степеии жаждал того, чтобы сама статуя явилась мне здесь и сейчас же.

Все-таки пришлось встать. К стулу я подобрался иа четвереиьках, чтобы лучше разглядеть сиимок. Ои поразил меия. (Девушка, разумеется, была голая; ума ие приложу, как я мог представлять ее ииаче.) Я почувствовал глубокое и ии с чем ие сравнимое облегчеиие, но уже через мгиовение оно смеиилось почти паиическим беспокойством. Мне сиова чего-то недоставало.

Сиимок я в тот же вечер вырезал и, обклеив с обеих сторои прозрачиой бумагой, спрятал в кармаи. Ои и теперь у меия в бумажиике.

Последиий раз я взглянул иа иего три года назад.

— А, малыш Иикеи! — одобрительио кивая, сказал Бокрош.

— Взгляии-ка.— Хуго Мелцер похлопал меия по спиие и, показывая иа скульптуру Иикеи, с гордостью повторил: — Малыш Иикеи!

— Все вокруг спорят да спорят о социалистическом

реализме, а что тут спорить-то? Вот Инкеи — он дух времени чувствует!

Бокрош огляделся в ожидании, что мы на это скажем. Раи закашлялся, Вижо сосредоточенно разглядывал скульптуру. В наступившей тишине Бокрош беспомощно уставился на меня.

— Да, дух времени...— с трудом выдавил я.

Малыш Инкеи снова вылепил мартеновца — третьего за последние два года. В 19..,-м его на три месяца послали за государственный счет в Сталинварош* — познакомиться с работой доменщиков и вообще пожить в рабочей среде. Если не ошибаюсь, ему тогда выдали на это двенадцать тысяч форинтов. В Сталинвароше он пробыл недели две.

— Скучнейшее местечко, старик,— сказал он, вернувшись.

И с тех пор стал лепить мартеновцев. Прочитал даже лекцию в союзе художников о рабочей теме в скульптуре и живописи, где изложил свои взгляды на искусство нового типа. Уже не помню, что именно он говорил, но лекцию организовал я и я же выступил перед началом.

Отказать Инкеи в талантливости было нельзя. В коллегии** мы с ним учились в одной группе и жили в одной комнате. С ним и с Геллертом Бано.

Было начало сентября, ласковая пора бабьего лета. Сойдя с электрички в Келенфёльде***, я первым делом расстегнул ворот рубашки и не спеша зашагал в гору. Воротничок по дороге озорно съехал набок, отчего на душе у меня стало весело и легко.

Коллегию я отыскал сравнительно быстро.

* Ныне город Дуиайварош.

** Имеются в виду так называемые народные коллегии, которые в первый пернод после освобождения Веигрнн прнзваиы былн в кратчайшие сроки лнквиднровать отставанне народиых масс, н особеино крестьянства, в областн образоваиня н культуры. В коллегнях детн нз бедняцкнх семей учнлись н жилн на полном государственном обеспечеиин. Многие нз ннх впоследствнн стали видными деятелями культуры демократнческой Венгрин.

*** Район Будвпешта.

Собственно говоря, готовили там не художников, а филологов, однако выкроили место и для нас — первоначально на один год, впоследствии же оказалось, что на все четыре.

На кровати рядом с окном сидел худенький смуглый юноша и ел хлеб, намазанный жиром. Часто моргая, он недоверчиво уставился на меня.

— Здесь комната скульпторов,— сказал он.

— Знаю,— ответил я.— Я тоже скульптор.

— Тогда здравствуй.— Он встал и с улыбкой протянул руку: — Золтан Инкеи.

— Кишгерёц,— улыбнувшись в ответ, представился я.

— Чего-чего? — переспросил он, наморщив лоб.

— Кишгерёц. Андраш Кишгерёц.

— Ну и фамилия! — засмеялся он.

— У нас в деревне это не редкость. А моя улица так и называется: линия Кишгерёц. Там в каждом втором доме Кишгерёцы.

— Хочешь хлеба с жиром? — Он придвинул ко мне промасленный бумажный сверток.

— Спасибо, я в поезде ел,— ответил я, но все же взял один кусок.

Кровать я занял по соседству с ним. Мы сидели друг против друга и смеялись.

Геллерт Бано явился только на следующий день. Место ему досталось самое худшее — возле двери, дальше всех от окна и от батареи. На нем были отвратительного вида очки в роговой оправе и стоптанные, бесформенные ботинки. Говорил Геллерт Бано ужасно тихо. Он побросал свои вещи в тумбочку и тотчас ушел.

— Ишь какие мы важные! — скривив губы, бросил ему вслед Инкеи.

— Опять мартеновец,— ухмыльнувшись, сказал Раи.

— В нем есть порыв,— заговорил наконец и Вижо.

Затем все снова умолкли и долго стояли перед скульптурой Инкеи. В сущности, решающее мнение должен был высказать я, хотя, обходя скульптуры по первому кругу, мы

лишь составляли о них общее впечатление. Как говорится, смотрели материал. Собственно же работа жюри начиналась потом. И все-таки этот первоначальный осмотр обычно оказывался важнее последующих.

Души у мартеновца не было. Была бронза, и все. А впрочем, Инкеи сработал искусно.

— Что это? — спросил профессор Бодвари, сонно моргая и вглядываясь в еще только проступавшие формы статуи.

— Моя экзаменационная работа, товарищ профессор,— ответил я.— Мартеновец.

Закусив губу, он не сводил прищуренных глаз со скульптуры.

— Что-что?

— Мартеновец.

Так ничего больше и не сказав, он прошел дальше.

— Ну, ты и кретин! — заявил Инкеи, взглянув на скульптуру.— Идиот!

Еще задолго до сдачи экзаменов меня предупредили, чтобы я представил другую работу, а эту назвали декадентством и бездарной глупостью. Слово в слово так и выразились. Дескать, анатомический абсурд.

— Формы я исказил специально, товарищ профессор.

— Идиот,— повторил малыш Инкеи, но на этот раз тихо, себе под нос.

Мы сидели на кровати. Малыш Инкеи что-то жевал, Геллерт Бано набрасывал за столом эскизы.

— У меня дядя мартеновец,— сказал я.

Они промолчали.

— Однажды он взял меня с собой на завод...

— Ты участвуешь в конкурсе? — вдруг ни с того ни с сего спросил Инкеи.

— В каком? Когда?

— Перед учебной частью висит объявление. Какая-то скульптура для сельхозкооператива. Первая премия — двенадцать тысяч.

— Не знаю,— пробормотал я.

По правде сказать, я не слишком-то его слушал. Мне все еще вспоминались огнедышащие чрева доменных печей, снующие в огромном пролете цеха крохотные человечки, клубы сизого дыма, вырывающийся со свистом пар. «Зачем привели сюда этого сосунка?» — закричал кто-то на моего дядю. Его ответа я не расслышал: все звуки потонули в оглушительном клокоте льющегося металла.

— А ты, Геллерт?

— Я не участвую.

— Бодвари разорялся, что ты и к экзаменационной работе еще не притрагивался.

Геллерт Бано лишь улыбнулся.

— Сделаю двух медвежат,— сказал он.— Для детей.

— Что это? — спросил сумасшедший граф и взял у меня из рук корень. Мне очень хотелось забрать его назад, но я не посмел, а поспешно ответил:

— Корень.

Он разглядывал его, держа в вытянутой руке, и улыбался.

Корень я подобрал в лесу на прошлогодней вырубке. Зимой деревья только спилили да вывезли, а пни выкорчевывали уже весной, когда земля ослабела, но грязь еще комьями прилипала к кирке. Повсюду валялись обрубки корней. По ним было видно, какой отсекли с одного удара, а по какому пришлось стукнуть топором дважды. Вырубка вся пропиталась сыростью, и даже в погибших, искромсанных корнях возрождалась жизнь. То один, то другой, глядишь — и вцепился в землю, пустил в нее новые тоненькие корешки, а к лету зашелестели и крохотные листочки. Так выживают обычно корни тополя и березы, но их редко встретишь в этих местах. Здесь все больше дубы, а особенно много акаций. У них корни на солнце сохнут и уж не могут пустить в землю новые корешки-паутинки.

— Грустное у него лицо, правда? — Сумасшедший граф взглянул на меня.

Этот корень лежал под кустом бузины и напоминал чело-

веческую фигурку, только без головы. Руки он распростер, левую иогу вытянул, а правую приподиял — в точности как та статуя, фотографию которой я иосил в кармане. Лииия приподнятой правой иоги и правой руки была совершенио такая же. Та же законченность и та же незавершеиность. Я положил корешок иа землю перед собой и стал смотреть на иего. Долго смотрел, а потом зажмурился. Головы у фигурки, как я сказал, ие было — отсекли топором, ио выражеиие лица было. Застывшее движеиие продолжалось в несуществующем печальиом лице.

— Грустное у иего лицо, правда? — повторил сумасшедший граф уже дома.

А мартеновца я все же закончил. Изнуренный и одержимый, с иевероятио закручеиным торсом и распростертыми руками, замер ои в коивульсивной позе как бы между двумя движеииями, чуть согиув колени, но все-таки твердо держась иа иогах. Одержимыми были и его руки — длиниые, узловатые,— они жили самостоятельной жизиью. Одержимость, по моему замыслу, воплощала в себе радость победы и возобновления борьбы. Мие трудио на словах как следует сформулировать свою идею, в скульптуре, иадеюсь, я выразил ее точио. И хотя одержимость мартеновца мне и самому казалась иесколько чрезмериой — в чем-то я тут ошибся, не рассчитал,— все же работа мие иравилась.

Головы у мартеновца ие было.

Туловище веичал обрубок шеи. Быть может, такое решеиие и являлось своего рода компромиссом, ио у меня просто рука ие поднялась вылепить голову. Зато с этим обрубком я иамучился больше, чем с какой-либо другой частью скульптуры. Сперва я хотел оставить его гладким, потом сделал так, будто статуя случайио упала и голова сама отвалилась. Вышло плохо. Пришлось перепробовать массу вариантов, прежде чем иашлась вериая лииия излома. Когда все было готово, лииия эта воспринималась как несущественная, чему я очень обрадовался. Уж я-то зиал, насколько она важна.

Зиал это и еще кое-кто.

Экзаменационные работы надо было закончить к четвертому апреля*. За несколько дней до этого мы смотрели скульптуры друг друга. Мнений никто особенно не высказывал, даже Бодвари. Только на моего мартеновца он с досадой махнул рукой. Ничего не сказал и малыш Инкеи, он мою скульптуру просто в упор не видел, да мы с ним в тот день почти и не разговаривали. Я не пошел со всеми дальше смотреть другие работы, а остановился и сел напротив своей. Интересно, сказал бы сумасшедший граф об этом мартеновце, что у него есть выражение лица?

Вернулся Геллерт Бано и молча уселся рядом со мной, неуклюже просунув ноги под стул. Я разозлился: что нужно от меня этому увальню?

— У него есть выражение лица, правда? — сказал Геллерт Бано.

— Многие обходят стороной социалистическую тематику. И это тоже отражение определенных взглядов,— заявил Бокрош.— А таких, кто действительно создает то, что нам нужно, единицы.

С этими словами он подошел к знаменосцу, вернее, к скульптуре Ивана Караса «Знаменосец».

— Счастье еще, что не видно, какого знамя цвета,— заметил Раи.

Хуго Мелцер схватился за голову, и взгляд его заметался между Раи и мной. Он ждал, что я на это скажу.

«Действительно счастье»,— подумал я.

— А вы сами-то что молчите, Хуго? — спросил я, и голос мой дрогнул от внезапно нахлынувшей ярости. «Давай же выкладывай свое мнение, чурбан!»

В скульптурах этот усатый хитрюга не разбирался, как и вообще ни в чем. Когда-то он было занялся живописью, но добрые люди отсоветовали ему брать в руки кисть. После освобождения он почему-то вдруг стал искусствоведом. «Товарищ Мелцер, вы ведь, кажется, занимались изобразительным искусством?» — спросили его, и он утвер-

* Национальный праздник Венгрии — День освобождения.

дительно кивнул. Может, и вышел бы из него сносиый искусствовед, хотя, как мие думается, у иего к этому делу душа не лежит, ио допустим, что мог все же выйти — ведь возможности человека неограничеины,— одиако ие вышел, потому что вместо произведеиий искусства ои изучал одии лишь брошюрки о иих.

— Эти двое...— промямлил ои.— Инкеи и Карас... Всегда эти двое! — И послал мие миогозначительиую полуулыбку, как бы добавляя: «Ах да, еще третий — Аидраш Кишгерёц».

— Да что это вы! — вмешался Вижо.— Что вы!

Геллерт Баио еще долго сидел со миой рядом. Мы оба молчали. Я ие зиал, что ответить, да это и не было нужио. «У иего есть выражение лица, правда?» — вот как сказал Геллерт Бано.

Мие вспомнилась его мать — пожилая крестьяика в черном платке; как-то раз она приезжала в коллегню.

— Отец благодарит тебя за деньги,— сказала оиа,— ио мы сейчас ие иуждаемся.— Оиа выложила иа стол две сотениых.— Телку-то продали и иеплохо за иее выручили. Так что, сынок, о иас не тревожься.

После обеда Геллерту иадо было идти на заиятия, и я проводил его мать на Восточиый вокзал.

— Благодарю вас, барчук,— сказала оиа после того, как я взгромоздил ее вещи на багажную полку.

— Твоя матушка обозвала меия барчуком, когда я провожал ее иа стаицию. Помиишь?

Геллерт покрасиел.

— Пойдем как-нибудь к Вижо, хорошо? Я ему уже говорил о тебе.

— Мартеновец, зиамя — это еще не социализм,— сказал Вижо.— В большиистве случаев это даже вовсе ие социализм. А социализм — вот ои!

Виутри у меия все сжалось. Я уставился в стеиу, в ее шероховатую белизиу, и крупиики извести, казалось, росли у меня на глазах.

Но я все же отчетливо видел, куда указывал пальцем Вижо. Мне очень хотелось, чтобы рука его просто случайно, в запальчивости вытянулась в том направлении, чтобы она задрожала. Но нет, он был решителен и спокоен.

На скульптуру теперь смотрели мы все.

Вижо жил в особняке на Холме Роз. Там же, во флигеле, располагалась и его мастерская — огромный неотапливаемый сарай, впрочем, вполне симпатичный и светлый, стены сплошь из стекла. Здесь и работал Геллерт Бано.

Он показал мне свои скульптуры, и я поначалу в недоумении разинул рот, озадаченный их экспансивностью, беспорядочной смесью разнообразных стилей. Не верилось, что автор у них один.

— Сколько вас здесь работает?

— Только я,— ответил Геллерт и рассмеялся.

— Как думаешь, что бы сказал обо всем этом Инкеи? — спросил он немного погодя.

К тому времени мы уже обошли все скульптуры. Оба молчали, разве что Геллерт обронил один раз: «Плохие». Сказал он это всерьез, а не для того, чтобы я возразил. Впрочем, я и не собирался, поскольку действительно не все работы были хороши, а многие даже нельзя было назвать скульптурами, так — попытки, этюды, схваченные движения, линии. Как вкопанный я стоял посреди мастерской. «Видел бы это Инкеи»,— подумал я про себя и представил, как мелькнула бы злорадная усмешка на его смуглом лице. Тогда и заговорил Геллерт, спросив с оттенком пренебрежения, но еще больше с грустью: «Как думаешь, что бы сказал обо всем этом Инкеи?»

— Он бы обрадовался,— тотчас ответил я.

— Думаешь? — Геллерт опять засмеялся, потом добавил: — А впрочем, это неважно.

Инкеи я любил. Любил гораздо сильнее, чем Геллерта Бано. Потому что Инкеи был откровеннее, веселее, надежнее и в общении проще. Геллерт же отличался какой-то тюленьей

неловкостью, временами становившейся просто невыносимой. Но в этой его неуклюжести таилась энергия, что я понял значительно позже.

Не следовало тебе обижать Инкеи!

Вспомнились подернутые дымкой осенние вечера. Пешт в такую пору превращается в сплошные закоулки. Город тогда еще был другим — темнее, чем нынешний, холоднее и беспощаднее. Я сидел один в комнате. Геллерт, как мне теперь известно, уже тогда пропадал у Вижо. В такие часы он работал или усаживался в оконной нише перед огромным стеклом. Там было его любимое место.

Там я впервые поцеловал Эржи.

Впрочем, Эржи тогда еще не было. Были только туман и копошащийся в нем чужой город. Тепло от батареи приятно обволакивало ноги, хотя со временем и в этом ровном тепле мне стало мерещиться что-то пугающее. Свет я не зажигал, просто глазел в окно. Видел склон горы Геллерт, деревья, кусты, мелькающие тут и там заботливо ухоженные тропинки, вымощенные щебнем. Осенью в эти часы на них редко кто появлялся. Ближе к подножию горы над деревьями мерцали огоньки городской окраины. Бусинки фонарей неестественно мигали на горизонте, будто что-то передавали морзянкой с другого континента.

Именно Инкеи я обязан тем, что поначалу чужой мне Пешт стал другим и что из его серой каменной массы выдвинулись мне навстречу дома, чьи интимные тайны я вскоре узнал. Я узнал, что у одного сбилась набок табличка с номером, в другом между вторым и третьим этажом обломились перила; видел уютный беспорядок и просиженные стулья в квартирах, темные, неприветливые подъезды; и люди, открывая на мой звонок дверь, расплывались в улыбке:

— Привет, Кишгерёц!

Туман просачивается сквозь оконное стекло, чуть заметно щекочет глаза, пробирает до самых костей. Грохочут желез-

ные засовы одиночества, и гром этот все отдаленнее, тише... Туман.

Кроме меня одного, к сумасшедшему графу никто не ходил. Да и я впервые побывал у него, когда он уже долгое время жил в нашей деревне. Было это осенью.

— Четвертый день не появляется,— сказала мама.— Болен, наверное.

Сумасшедший граф сидел у окна. Окна в доме были огромные, их прорубили по его просьбе в первую же неделю.

— Туман,— сказал граф.

— Мама вам супу прислала.

— Ты видел автомобиль? — спросил он.

Да, видел. Видел и белокурую женщину, чинно сидевшую в нем. Должно быть, она была очень красивая.

Сумасшедший граф, облокотившись на подоконник, вглядывался в туман.

Комнату его заполняли картины. Они стояли рядами, прислоненные к стенам. Тогда, в сумерках, я не понял, что это картины, поскольку не знал еще, что сумасшедший граф рисует. Да и во всей деревне никто об этом не знал.

— Такой туман надо бы написать. Понимаешь?

И он стал есть суп.

— Остыл уже,— сказал я.

— Ничего. Зато вкусный,— ответил он.

От батареи исходил такой жар, что пришлось отодвинуться. В коридоре послышались шаги.

— Чем занимаешься? — спросил Инкеи.

— Гляжу на туман. Туман ведь...

— Туман? Чепуха. Смотри, вон фонари видно!

Фонари действительно мерцали вдали.

Не зажигая света, Инкеи опустился на кровать. Я не видел его, поскольку сидел к нему спиной, и весь обратился в слух. Я знал, что он хочет мне что-то сказать. Что-то важное.

И он сказал:

— Ты можешь пойти со мной. Не люблю в одиночку шляться.

Это было важно, и очень.

Мы уже ехали с ним в трамвае, а я все еще сомневался. Меня ведь не приглашали, а я вдруг возьму да и заявлюсь!

— Временами ты рассуждаешь как идиот,— вполголоса заметил Инкеи.

Я готов был расцеловать его.

Табличка с номером дома висела криво. Третий этаж, квартира два. Инкеи до тех пор давил на кнопку звонка, пока нам не открыли.

— Золти! Я тебе голову оторву! — мучаясь с замком, кричала Магда, но Инкеи перестал звонить, лишь когда она распахнула дверь.

Сперва я увидел ее глаза. Она улыбнулась мне и нисколько не удивилась, что Инкеи пришел не один, а со мной. Движения ее были решительны и уверенны. Не только в тот вечер, но и вообще. Магда никогда и ни в чем не терзалась сомнениями. За все она принималась так, словно успех ей заранее обеспечен. Она знала, как лучше себя держать, как взглянуть, как подать руку. Только во сне она становилась другой — мягкой, безвольной. Черты лица расплывались, а в уголках губ появлялись горькие и суровые складки. Но спящей я увидел ее лишь годы спустя.

Вешалки в прихожей прогибались под тяжестью пальто. Непоместившуюся одежду пришлось свалить в кучу прямо на полу. Из комнаты доносилась джазовая мелодия.

— Мне ведь не надо всем представляться, а? — немного волнуясь, шепнул я Инкеи.

— Не надо,— ответила вместо него Магда и рассмеялась. Смех у нее был беззвучный, мимический. Ни разу не слышал, чтобы она засмеялась громко.

Кто-то пробежал через прихожую, крикнул Инкеи:

— Привет, Золти!

«Золти!..» А меня здесь не знают. За этим приветствием потянулись из памяти залитые солнцем длинные улицы, дома, индейские племена, библиотечные книжки, игры в сал-

ки и полные совместных переживаний письменные работы. «Золти!..» Ребята обмениваются остротами, о чем-то секретничают друг с другом и дразнят девчонок. А те презрительно кривят губы или, не удержавшись, показывают им язык.

Меня здесь не знают.

— О, новый мальчик! — закричала Марго.

В гостиной толпилось человек тридцать — ребята и девушки. Одни танцевали, другие, собравшись в углу, рассказывали анекдоты.

— Не мешало бы и погромче сделать,— сказала Марго, вдруг оказавшаяся прямо передо мной.

Музыка зазвучала сильнее. «Джо, Джо, Джо!..» Голос певца заполнил комнату, и я почувствовал приятное головокружение. Прекрасная песенка. Пластинка была американская, а в те годы их привозили только спортсмены да работники внешней торговли. «Семейка не из бедных»,— подумал я и улыбнулся. Музыка мне нравилась.

— Хороша пластиночка, правда? Старик привез,— сказала Марго.— Тебя, кстати, как зовут-то?

Я ответил, Марго засмеялась.

— Ты деревенский, да?

В тот момент мы с ней уже танцевали, и Марго зашептала мне в ухо:

— Да ты не расстраивайся, старик, а главное — не говори никому. Я и сама из деревни.

У нее была красивая фигура и обесцвеченные перекисью водорода волосы. Узнав, что я скульптор, она сказала:

— Отлично, братишка!

Ко второму часу ночи мы остались втроем — Инкеи, Магда и я. Марго полчаса как ушла в сопровождении двух ребят. Она и меня звала, но Инкеи подал знак, чтобы я остался, иначе я с радостью пошел бы. Чертовски забавная все-таки эта Марго.

— Прекрасный выбор,— смеясь, похвалила Магда.

— Почему?

— Канителиться с ней долго не надо,— отеческим тоном объяснил Инкеи и сообщнически подмигнул.

Я пожал плечами: вот еще!

— В другой раз тоже приходите,— сказала на прощание Магда. Глаза ее пронизывали меня насквозь.— Если захотите, приглашу для вас и Марго,— чуть погодя добавила она, и взгляд ее смягчился.

Отец Магды работал в какой-то внешнеторговой организации, говорил на четырех языках. За границей он был не иначе как «мистером» и «мсье». Впрочем, и в Венгрии тоже, только здесь к нему обращались «товарищ Секереш».

— Вы избрали хорошее поприще, ребята,— однажды сказал он нам.— Перспективное!

— Туман надо бы написать,— пробормотал сумасшедший граф.

Мы с ним стояли среди картин. Он переворачивал их, раскладывал веером на полу. В руке граф сжимал корень, с которым не расставался с тех пор, как забрал его у меня. Некоторое время он любовался им, держа на вытянутой руке, потом принялся расхаживать между картинами.

— Все еще куб? — спросил я.

— Все еще.

Сумасшедший граф учил меня рисовать. Три месяца кряду я делал наброски одного и того же куба, и лишь когда пошел уже четвертый месяц, он наконец удовлетворенно кивнул и сказал:

— Можно переходить к цилиндру.

Сам он в моем присутствии никогда не работал, а лишь прохаживался среди картин, сжимая в руке корень. Время от времени он останавливался за моей спиной, смотрел, что у меня получается, иногда отбирал карандаш и что-нибудь исправлял в наброске. Рисовал сумасшедший граф гениально. Тогда я еще не понимал, зачем он малюет какие-то разноцветные пятна причудливых очертаний и невообразимые фигуры. В его картинах было нечто такое, что завораживало, пленяло меня, но что именно — я никак не мог понять.

Впрочем, не все его картины были такими. Одна-единственная, висевшая на стене, изображала мальчика. Удиви-

тельиая картииа. О ией можио сказать все то, что я говорил о скульптуре, фотоснимок которой ношу при себе. Только грусть, безысходиость иа этой картиие были сильнее. От иее веяло красотой. Создаиной рукой мастера красотой гармоиии цвета и формы.

Перед этой картииой сумасшедший граф задерживался дольше, чем перед любой другой. В такие минуты обычная невозмутимость покидала его, и порой ои даже начииал говорить сам с собой — говорить возбужденно, сбивчиво, так, что ничего иевозможно было понять.

Прошло очеиь и очень миого времеии, прежде чем он рассказал мне, о чем мечтает. В тот летний вечер мы разговаривали с ним в последиий раз.

Во дворе ои разжег большой костер.

— Кабаиа собрались колоть, господии граф? — крикиул кто-то через забор, ио он ие ответил. Соседи сообщили в пожарную часть, что сумасшедший граф решил поджечь дом. Ему, одиако, подобное и в голову ие приходило. К приезду пожариых костер уже потух.

Он сжег свои картины.

В деиь иашей третьей встречи с Магдой я рисовал ее. Тогда я подумал, что портрет не удался. Мие было стыдио, ведь Инкеи сказал, будто я рисую лучше всех у иас иа курсе, с учетом живописцев и графиков. Но на портрете Магда выглядела мягкой и безвольной, черты лица ее расплылись и в уголках губ появились горькие, суровые складки.

Теперь я знаю, что тот портрет получился верным. Я ведь видел Магду и спящей.

Иикеи попрощался:

— А вы валяйте рисуйте дальше.

Магда тоже хотела поступить к иам учиться. Я видел ее рисунки, они мне не нравились, хотя и совсем иикудышными их иельзя было иазвать.

— О каком это сумасшедшем графе ты говорил?

— Когда? — с испугом спросил я.

Мие не хотелось, чтобы Магда зиала о нем. О сумасшед-

шем графе я рассказывал лишь однажды, чуть позже, Эржике.

— Вы, правда, были немного навеселе, сударь,— засмеялась она.

— Не помню я никакого сумасшедшего графа.

Трудно сказать почему, но во взгляде ее постоянно пылала страсть. Весь вечер она не сводила с меня глаз, которые, казалось, прожигали меня насквозь.

— А может, я имел в виду себя. Я ведь вел себя как ненормальный.

— Почему? — Глаза ее сузились.

— Потому что не поцеловал тебя.

Я потянулся к ее плечу, но она вдруг взглянула так холодно из-под приспущенных век, что рука моя остановилась на полдороге и бессильно опустилась.

Не так уж и много времени мы с Геллертом Бано провели вместе в мастерской Вижо, а мне теперь кажется — бесконечно много. То были дни кипучей и самозабвенной работы, бредовых фантазий, мучительных заблуждений и счастливых открытий. Нередко мы спорили. Геллерт одно время лепил какие-то замысловатые глыбы — мощные, экспрессивные, но лишенные человеческой теплоты. Они были бесчувственны, даже лживы. «Здесь главное — композиция»,— говорил о них Геллерт. Нечто в таком же духе пытался делать и я. Нет, я не подражал ему, в своих глыбах я давал выход страстям, переполнявшим меня самого, однако, застывшие в камне и глине, они казались мне чужими. Сердце и разум посылали команды чувствительной коже пальцев, но материал отказывался подчиняться. Найти с материалом общий язык — дело не из легких. Отчужденно, а то и враждебно покоится он аморфной, ленивой массой на рабочем столе, храня в своей неподатливой плоти гениальные формы и линии.

Садом чудес была эта мастерская, где все в беспорядке и все на виду, ареной ожесточенных схваток, сражений и примирений.

Окно.

Когда мы совсем выбивалнсь из сил, мы усажнвались на каменном выступе в нише окна. Я прислонялся спиной к холодной стене, Геллерт располагался напротив. Там я впервые поцеловал Эржи, н там же Геллерт сказал мне:

— Жить стонт лишь ради того, чтобы создать свою главную и единственную скульптуру. Даже если я обломаю себе все ногти, даже если сто раз упаду без сознания от усталости, я все равно ее сделаю. Понимаешь, иначе ничто не имеет смысла. Ведь я не хочу быть ремесленником, а значит, я должен ее сотворить.

Геллерт был влюблен. Однажды он предупредил меня:

— Сегодня у нас будет гостья, если не возражаешь. Ее зовут Эржи.

Пришла белокурая девушка, миниатюрная и изящная. Издалека она выглядела невзрачной, слишком уж худенькой и какой-то неуверенной. Но оказалось наоборот: она была сама уверенность. И чистота. Чистота такая, что придавала силы и вселяла страх.

— Просто одна моя знакомая,— сказал Геллерт, когда девушка ушла.

Я обрадовался этим его словам, знал, что он говорит неправду, и все же обрадовался. Вспомнилось, как взволнованно остановилась она перед одной из работ Геллерта. Скульптура была из камня — белый, легко поддающийся резцу известняк. «Раскаянне»,— пояснил Геллерт. Она переминалась с ноги на ногу и время от времени проводила рукой по лицу. Геллерт гордился этой скульптурой; он полагал, что нашел новый путь, пластику, близкую к музыке, к непосредственному самовыражению. А Эржи сказала:

— Не забывай, что ты работаешь с материалом — с камнем ли, с бронзой ли, с глиной... Помни об этом, Геллерт!

Сумасшедший граф неестественно прямо стоял у костра, и выражение глаз у него было каким-то нечеловеческим, когда он смотрел на пламя. Я только что прибежал и, еще не успев отдышаться, первым делом почему-то спросил:

— И мальчика тоже?

— Нет,— ответил он,— мальчик в доме.

Я успокоился. Мальчик был для меня очень важен.

И тогда сумасшедший граф заговорил:

— У меня нет сил начинать все сначала! Когда я написал мальчика, меня самого поразили та красота и та человечность, какие он в себе нес. Я долго смотрел на него. Знаю, картина очень хорошая, даже слишком. Первое время она доставляла мне наслаждение, но лишь позднее, гораздо позднее, с годами, она открылась мне полностью. Эта картина вместила в себя слишком многое. Действительность сразу стала помехой. Меня интересовало теперь лишь то, что́ я хотел выразить и что́ выразил сверх того, помимо собственной воли. Мальчик мешал мне, мешали его голова, руки, ноги, стоящие на земле. Его нарисованное тело было тюрьмой, в казематах которой томятся сила и красота. «Я должен освободить их»,— решил я. Мне хотелось написать красоту непосредственно, саму по себе. Ты все здесь видел, сынок, все мои картины, и, возможно, знаешь теперь столько же, сколько я. Знаешь и то, что постигнуть сущность этого мальчика мне так и не удалось. Порой я тешил себя иллюзиями на этот счет, но нет, всю ту красоту, всю ту силу, то сверхъестественное, что существует в действительности, невозможно выразить, не отразив и саму действительность. И я знаю, есть пути, по которым можно прийти к успеху.

Он взглянул на меня с теплотой, но я понял, что объяснений от него не услышу. Потом он отправился в дом и запер за собой дверь.

Больше сумасшедший граф ни с кем словом не обмолвился. Он лежал на кровати, сжимая в руке тот корень, что я когда-то подобрал в лесу. Так он и умер, не выпуская его. Пока он был еще жив, мы носили ему еду, а на похороны пришла вся деревня. За что они чтили его, я не знаю.

«Не забывай, что ты работаешь с материалом — с камнем ли, с бронзой ли, с глиной... Помни об этом, Геллерт!»

Офицер полиции с блокнотом в руке сидел за столом, пронизывая нас взглядом. В центре восседал Бодвари, по сторонам — секретарь парторганизации и какой-то незнакомец в штатском. Мне было страшно. Я знал, что ни в чем не виновен, и все-таки трусил.

Геллерт в обычной своей неуклюжей позе стоял чуть позади меня, как бы подчеркивая, что ничего общего у нас больше нет.

— В последний раз я там был месяц назад,— сказал я,— а с тех пор ни разу.

— Вижо говорил с вами о своих зарубежных связях?

— Нет,— поспешно ответил я,— не говорил. Я дай бог, чтобы дважды виделся с ним за все это время.

Бодвари перевел взгляд на Геллерта.

— Да, со мной говорил,— сказал он.— Письма тоже показывал. Он переписывался с каким-то французским художником и с приятелем из Америки. Они познакомились, когда были вместе в Париже.

— Где теперь эти письма?

— Не знаю.

— Помните их содержание?

— Да. Тех, которые дядя Иштван зачитывал мне, помню.

Стало тихо.

— Продолжайте,— елейным тоном сказал полицейский, постукивая по блокноту карандашом.

— Они писали о выставках, о картинах. О политике — никогда.

— Вам, похоже, и этого было достаточно,— вставил Бодвари и скорчил такую гримасу, будто вот-вот плюнет. Потом посмотрел на наши скульптуры.

— Это ваших рук дело? — Штатский, которого я не знал, кивнул в направлении статуй.

— Да.

— Стало быть, вам известно, что все это мерзость.

— Не мерзость,— возразил Геллерт.— Возможно, мы допускали много ошибок, но...

— Ошибок!.. Они называют это ошибками,— снова вмешался Бодвари.

— Да, возможно, мы допускали много ошибок, товарищ профессор, но ведь у человека должно быть право и ошибаться...

— Молчать! — оборвал его штатский.— Ваше мнение здесь не спрашивали.

В коридоре нас дожидалась Эржи. Увидев Геллерта, она опустила глаза. Он не глядя коротко кивнул ей и ушел. Шаги его гулко звучали под сводами коридора.

Только когда он свернул и исчез из виду, Эржи взяла меня за руку.

— Благодарю вас, барчук,— сказала мать Геллерта после того, как я взгромоздил ее чемодаи на багажную полку.

— Что вы! — пробормотал я.— Теперь иет ни барчуков, ни всяких прочих господ.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу и думая лишь о том, как бы поскорее с ней распрощаться. Мать у Геллерта была не слишком-то разговорчивая, за всю дорогу до самого Восточного вокзала не проронила ни слова.

— Как это нет! Уж вы-то станете господами... И Геллерт тоже. Я всегда это знала.

Оиа достала измятую и пожелтевшую фотокарточку.

— Вот он какой был. Не узнать, правда?

Со снимка обиженно смотрел щупленький мальчуган.

— Ему здесь пять лет. Одиажды он провинился, в чем именно, уж и не помню. Нацепила я ему котомку за плечи да и прогнала прочь. Такой плохой сын, говорю, мне не нужен. Посмотрел он на меня — в глазах ну ни капельки страха не было и ни слезинки,— повернулся и ушел. Лишь на другой день жандармы нашли его километрах в пятнадцати от деревни. Котомку он бережно нес с собой, а ведь я в нее просто тряпья напихала.

— Ну, я пошел... Поезд уже вот-вот тронется...

— Спасибо, сыночек, спасибо... Позднее, когда он вырос, я его много раз спрашивала, куда он тогда идти-то хотел.

А он улыбался только... Ну, прощайте, сынок, господь с вами!

На доске объявлений перед учебной частью разом появилось сразу две «молнии». Первая извещала, что за дисциплинарный проступок мы с Геллертом Бано исключены из Союза трудящейся молодежи, а Геллерт — «по подозрению в причастности к антинародной деятельности» — еще и из художественного института. На другом листке значилось: «Первая премия завершившегося 4 апреля конкурса на лучшую скульптуру для сельскохозяйственного кооператива присуждена Золтану Инкеи за работу под названием «Скотница».

Перед доской мы стояли вдвоем с Инкеи.

— Тебе везет,— сказал он.— Тоже ведь могли выгнать.

Мне было ужасно стыдно.

— Ты должен выдержать это,— приговаривала она, гладя мне волосы.— Все пройдет, вот увидишь, главное — пережить. И когда-нибудь ты сам поймешь, что поступил правильно.

Она сидела на траве и говорила. Между кронами деревьев проглядывал кусочек неба. Что-то давило мне в спину — должно быть, я лег на комок земли. Я все меньше прислушивался к голосу Эржи, тупая боль в спине становилась сильнее, растекалась, охватывая понемногу все тело, мышцы сами собой напряглись, и пришлось встать.

— Конкурс опять объявили.

— Тебе надо участвовать! — сказала Эржи.— Закончи свою скульптуру. Они поймут, вот увидишь. Поймут, что сегодня необходимы как раз такие...

Я раздраженно дернул плечом:

— Что ты, на конкурс нужна другая.

К тому времени я уже целый месяц не занимался этой скульптурой. Идея ее родилась у меня давно, еще в мастерской Вижо. Той же ночью я набросал к ней эскизы и как одержимый работал до самого дня его ареста. Потом я на-

долго оставил ее и лишь позднее, вернувшись, стал ее понемногу доделывать. Об этой скульптуре я рассказал только Эржи; это было бы мое первое сто́ящее произведение. За что я ни принимался, скульптура сразу же возникала перед глазами, требуя, чтобы я завершил ее.

— Ты должен ее закончить! — сказала Эржи.

— Замолчи!

Голос грубо ворвался в тишину рощи. Подул свежий ветер, мне стало холодно.

Инкеи посмотрел на рисунок и усмехнулся:

— По-моему, ты заблуждаешься.

Магда тоже склонилась над эскизом, некоторое время задумчиво и серьезно разглядывала его, потом встряхнула головой, но так ничего и не сказала.

— Формализм,— заявил Инкеи.— Сам позднее поймешь. Тупик. Можешь начинать все сначала. Ты только не думай, что я не пытался работать в таком же духе. Но, как ты и без меня знаешь, единственно верный путь — реализм.

— Так ведь это и есть реализм.

— Ничего подобного. Это немощь! Болезнь. Поверь, то, что нам говорят в институте, отнюдь не пустые слова. Возможно, они слишком уж разглагольствуют, порой, быть может, насильно впихивают в нас какие-то вещи, или по крайней мере мы это так воспринимаем. Но нельзя забывать, что в деревнях уже электричество, строятся школы, землю отдали крестьянам...

— Вот именно... Как раз поэтому...

— Да нет же. Ты заблуждаешься! Геллерт Бано требует права делать ошибки. Чушь! Наш путь светел. Мы живем в здоровом, торжествующем мире. И нечего нам ссылаться на Пикассо, пусть он что делает, то и делает. Его творчество надо рассматривать как стихийный протест против мира, который его окружает и из которого он не видит выхода. Только безысходность заставляет художника отворачиваться от действительности. Кубизм, дадаизм, сюрреализм! А нам требуется ясное и здоровое искусство. Для того

тебя и одергивают, чтобы не ошибался, чтобы не отставал от других...

Все, что говорил Инкеи, было правдой. И все же где-то его аргументы хромали, о чем-то он все же умалчивал и тем самым лгал. Он и сам это чувствовал. Теперь-то я понимаю, что Инкеи уже тогда все в точности знал. Лишь первое время он еще тешил себя иллюзиями, позднее же ясно увидел, что проиграл, и тем отчаяннее цеплялся за старое.

— Ты бы лучше принял участие в конкурсе! — сказала Магда.— А эту скульптуру пока оставь, отложи на несколько лет, потом вернешься и, если еще сохранится желание, закончишь. Но я совершенно уверена: ты тогда сам увидишь, что заблуждался.

Все надолго замолчали. Мы сидели за столом, Магда и Инкеи смотрели на меня дружелюбно и чуть ли не любовались мной, хотя, если вдуматься, никто не обязывал их обо мне так тревожиться. Но взгляды их излучали тепло.

— По ком траур, молодые люди?

— Ну что ты, папа, какой траур! Просто Андраш задумал очередную глупость.

Секереш взглянул на эскиз:

— Ты не лишен таланта, сынок. Только не забывай главное: будь мудр, как змея.

Мы с Инкеи недоуменно уставились на него, и только Магда даже не повернула головы. Она понимала, что́ он имеет в виду.

— Я буду участвовать в конкурсе! — сказал я ей, уже стоя в дверях.

Она взяла меня за руку, потом подошла поближе, обняла. Целуя ее, я бросил взгляд на часы. Половина шестого. Еще успею, Эржи как раз сейчас выходит из дому. Глаза мои сами собой сомкнулись. Мне ужасно хотелось остаться, но я ушел. Ноги несли меня, я переставлял их как автомат.

— В коллегии сказали, что ты работаешь допоздна, а я сегодня же должна уехать обратно. Надеюсь, не помешаю?

Я бросился ей навстречу и подхватил на руки. Она была легкая как пушинка, пугающе невесомая, моя матушка.

Я стал кружить ее, но уже на втором обороте понял, что лгу. Прежде я никогда не испытывал неловкости, обнимая мать. Теперь это была лишь проформа — скованные движения, пустые, а потому неприятные мгновения. Я опустил ее перед собой и понуро уставился в пол. Она тоже почувствовала возникшую отчужденность, и это было заметно по ней — движения ее стали какими-то угловатыми.

— Ты так редко пишешь,— сказала она,— я уж решила, что заболел.

— Нет, я здоров.

Мне очень не хотелось, чтобы она увидела мою конкурсную скульптуру, и я поставил ей стул у окна, спинкой к «Вязальщице снопов». Но она уже разглядывала ее. Некоторое время я следил за выражением ее лица, потом отвернулся.

— Это ты делаешь?

Казалось, голос ее доносится издалека.

— Да.

— Красивая,— сказала мама.

«Посмотри, сынок, что за девушка!.. Да посмотри же какая!..»

Вспомнился тот давний осенний вечер.

— Нам лучше расстаться,— сказал я в трубку.

На другом конце провода стало тихо.

Мне хотелось, чтобы Эржи заговорила укоризненным тоном, а еще лучше — грубым, вульгарным. Тогда я мог бы подумать: ах, вот ты какая, оказывается, на самом деле! Я всегда радуюсь, когда в момент разрыва женщины устраивают скандал. Мне так легче.

Но Эржи едва слышно ответила:

— Хорошо.

И повесила трубку.

Мне очень нравится запах гудрона. Всякий раз, как увижу рабочих, асфальтирующих улицу — спешу ли по делу,

нет ли,— обязательно подойду.

Его я заметил, когда поравнялся с котлом. Он носил все те же роговые очки, на ногах были кожаные гамаши до колен. Деревянной планкой на длинной рукояти он разравнивал горячий, дымящийся асфальт.

Я невольно шагнул к нему.

— Эй, поосторожнее! — предостерегающе крикнул мне стоявший рядом с котлом рабочий и накренил чан, полный клокочущей жижи.

Кипящий гудрон брызнул в стороны, и одна капелька угодила мне в лоб, в самую середину.

Я вскрикнул, дыхание от испуга перехватило; я судорожно вдохнул, и горло мне тут же заполнил едкий и горький дым.

— Сказал же, поосторожнее! — заорал на меня рабочий и, подойдя, добавил уже спокойнее: — Да ты не ковыряй, ничего страшного.

Геллерт, сгорбившись, все так же старательно разравнивал горячий асфальт. Не знаю даже, заметил ли он меня. Я торопливо свернул в первый же переулок.

— Несколько дней еще будет заметно, а потом пройдет,— сказал врач.— Могло быть и хуже.

Мой лоб украшала теперь черная отметина.

— Андраш Кишгерёц! Вас ожидают в вестибюле! — разнеслось по всему коридору из динамика.

Я думал, что это Магда. Мы с ней договорились сегодня увидеться, но должны были предварительно созвониться. Может, она пришла без звонка? Лоб у меня уже не болел, и о черном пятнышке я забыл. О Магде же помнил все время.

— Взгляните-ка на него! Каин! — прищурившись, воскликнула она, когда первый раз увидела меня с пятном на лбу.

Впоследствии она всегда целовала меня сперва в лоб, приговаривая: «Точка отсчета... Это наша с тобой точка отсчета!..»

Я выходил из себя.

В вестибюле лицом к окну стоял мужчина. Сначала я уви-

дел его спину и только потом узнал стоптанные, потерявшие форму ботинки.

— Просто так я бы к тебе не пришел,— даже не поздоровавшись, сказал Геллерт.

— Привет,— буркнул я.

— Но ты не подумай, что меня Эржи прислала.

— Что тебе нужно?

Вопрос прозвучал резко и грубо. Геллерт, как обычно в неуклюжей позе, стоял, опустив голову.

— Она не хочет, чтобы ты это знал, но лучше, пожалуй, если узнаешь... Она беременна.

Я ненавидел Геллерта Бано.

— Вот как?! Уж не хочешь ли ты сказать, что от меня? А?

Он поднял голову, глаза его широко раскрылись от удивления, а губы задрожали, как будто он собирался ответить. Но он не сказал ни слова. Сконфуженно поправив очки на носу, он снова уставился себе под ноги, в каменный пол.

— А?! — еще раз повторил я, быть может, чересчур громко, потому что вахтер высунулся из-за стеклянной двери и исподлобья, как бы поверх очков, которые, однако, держал в руке, посмотрел в нашу сторону.

Геллерт Бано повернулся и зашагал прочь.

Спускаясь по лестнице, он споткнулся и на мгновение потерял равновесие.

Но не упал.

Я ненавидел Геллерта Бано.

Утром я сдал последний экзамен, а после обеда Магда стала моей женой. Когда мы прогуливались с ней по проспекту Ракоци, я увидел Эржи. Она шла по другой стороне, мимо капеллы Рокуша.

— Подожди минутку,— сказал я Магде и, лавируя между машинами, перебежал дорогу.

Какой-то частник со скрипом затормозил.

— Идиот! — высунув голову из окна, заорал он мне вслед. От испуга он побледнел и вцепился в руль.

Эржи тоже была бледна. Она заметно похудела и стала

почти прозрачной, глаза же казались еще больше, чем прежде.

— Он чуть не сбил тебя. Надо быть осторожнее.

От звука ее голоса меня бросило в дрожь. Комок подкатил к горлу. «Надо быть осторожнее...» Она хочет унизить меня! Пришлось защищаться.

— Я только хочу сказать, что тебе нельзя рожать ребенка.

Пришлось собрать все силы, чтобы держаться спокойно. И мне это удалось.

Она стояла как заколдованная, потом, прижав руки к груди, вскинула голову. Сейчас заплачет, подумал я.

Мимо нас равнодушно сновали прохожие. Было пять вечера, самый час пик.

— Так будет лучше и для тебя,— хрипло добавил я.

— Не бойся,— сказала она,— тебя это не коснется.

Я долго смотрел ей вслед, хотя уже через несколько шагов толпа поглотила ее. Она растворилась в массе размеренно колыхавшихся плеч и рук, и я напрасно ждал, что ее фигурка вдруг вынырнет где-нибудь. Мне хотелось еще раз взглянуть на нее. Но Эржи была очень маленькая.

Награду мне вручали в одиннадцать утра в Парламенте. Пришел и тесть, они с Магдой сидели друг подле друга в третьем ряду, нам же, как награжденным, отвели места в первом.

Где-то далеко-далеко прозвучала моя фамилия. Я встал и увидел себя идущим в черном костюме к столу президиума. За всем, что происходило, я наблюдал как бы со стороны, подглядывая из-за колонны. Награждается некий скульптор по имени Андраш Кишгерёц. Вот он слегка кланяется публике. Рука его чуть заметно дрожит, принимая красную кожаную коробочку и конверт. В конверте — пятьдесят тысяч форинтов. Он поворачивается лицом к залу. Его приветствуют, ему аплодируют.

Кровь бросилась мне в голову. Поначалу я еще видел тестя и Магду, но потом и их лица влились в сплошную черную массу со множеством светлых пятнышек.

А матушка не приехала.

«Желаю, чтобы письмо мое нашло тебя в добром здравии. Спешу сообщить тебе, что не сумею в среду быть в Пеште, потому как опять захворала. Доктор наш говорит, что опасного ничего нет. Сердечно благодарю тебя за деньги, но в другой раз не присылай так много, а то я из-за них плохо сплю, все боюсь, что ограбят. Такой одинокой женщине, как твоя мама, деньги вообще ни к чему. Но я все же рада, что ты их прислал, так я хотя бы смогу купить для тебя какой-нибудь подарок по случаю твоего награждения. Приезжай погостить, сыночек, да подольше не уезжай из родного дома. Тетушка Чете рассказывала, что у тебя уже и машина есть, а значит, тебе это обойдется совсем недорого...»

Я валился с ног от усталости.

— Поеду домой.

— Что ты! Министр сказал, что хочет поговорить с тобой. Значит, нельзя уходить! Ты ведь стольким ему обязан.

Слова тестя звучали как приказ. Да это и был приказ. Мой тесть человек влиятельный, и во многом благодаря ему я работаю теперь в министерстве. Пришлось дожидаться министра.

Я пошарил на шкафу. Куда-то сюда я забросил эскиз, он должен быть где-то здесь. Из другой комнаты доносились голоса гостей. Звонил министр и, извинившись, сказал, что приехать не сможет. Я взял лист в полформата и нарисовал на него шарж, получилось неплохо. Наконец я нашел, что искал.

Сидя на полу, я вглядывался в рисунок. «Формализм»,— сказал о нем когда-то Инкеи. В эскизе ощущалась энергия. «Потом вернешься и, если еще сохранится желание, закончишь...» Рисунок уже был мне чужим. Словно и не я его набросал. Я попытался представить себе скульптуру. Не получалось. Хотя эскиз к ней — вот он, передо мной. Все было точно так же, как годы назад, когда я не мог восстановить в памяти фотоснимок танцовщицы.

Сейчас ты встанешь, пошлешь все к черту и примешься за скульптуру. Мысль шевельнулась в мозгу бессильно;

я ощутил, как между ией и действием разверзлась непреодолимая пропасть. Пропасть, по эту сторону которой, вместе со мной, Магда и тесть. И полная гостей соседняя комната, где Инкеи как раз поднимает бокал в мою честь, тоже по эту сторону.

Дом стоял на краю деревии, сверкая огромными окнами. «Все еще куб»,— сказал сумасшедший граф.

— Что ты тут делаешь?

Магда неожидаино возиикла за моей спиной. Она тоже взглянула иа эскиз.

Не дождавшись ответа, оиа испытующе уставилась мне в глаза, и черты лица ее стали жесткими. Она подняла с пола эскиз, забросила обратно на шкаф. Затем протянула руку к куче бумаг и безошибочио извлекла оттуда карикатуру.

— Идем,— сказала оиа,— тебя уже ждут.

Я осторожио проскользиул в переднюю, ио все же меня заметили.

— Вот ты где! — Путь мне преградил один из коллег по миинстерству.— Куда это ты одеваешься?

Его слегка покачивало: видио, хватил лишнего за мое здоровье.

Не ответив, я отстранил его и вышел. Между третьим и вторым этажом перил не было — обломились.

Я шел иаугад. Помню какие-то деревья, мчащиеся трамваи, Дуиай... Долго, быть может не один час, просидел я на ступеньках иабережной, уставившись в воду. Просто смотрел, ни о чем не думая. Вода была серая, у самого берега в маленьких водоворотах кружились щепки, солома, клочки бумаги...

— Что будешь пить?

— Все равио,— сказала Марго.

С тех пор, как я видел ее в последний раз, она совершенно не измеиилась.

— Что нос повесил? Видела твое фото в газете, тебе вручали какую-то бляху. Но главиое — иметь бабки, правда?

— У тебя краснвые иоги.

Оиа засмеялась — долго и язвнтельно, бросая между тем иа меия косые вгляды.

— Ну, пойдем,— сказала оиа иакоиец.

Мы шли через парки, потом мимо длиной вереиицы особняков. Она прижималась ко мне. С горы весь город казался морем огией.

— Будь мудр, как змея.

— Не философствуй, мальчик.

Марго жила иа горе Геллерт, и из ее окна тоже был вндеи город.

Когда я оделся, она еще спала. Я долго вглядывался в ее лицо. Во сие оиа морщила лоб.

Внезапно оиа просиулась и тотчас села, улыбаясь мие.

— Ты во сие морщишь лоб,— сказал я.

— Приходи еще.— Она схватила меня за руку.— И не горюй. Мие ииогда тоже кажется, что надо бы все начать сызиова. И, пожалуй, я бы смогла — с тобой или с кем-то другим. Побудь еще иемного...

Я выдериул руку и ушел.

Автомобиль с жадиостью пожнрал километры. Я наслаждался скоростью. К полудню показались зиакомые деревушки, а вскоре иачались и нсхожеиные иекогда вдоль и поперек перелески. Сразу за поворотом возиикла родиая деревня. Я надавил иа тормоз.

На месте дома сумасшедшего графа стояло продолговатое здаиие с красиой крышей. Коиюшня.

Я развериулся. Колеса машины оставили в пылн четыре полукруглых следа. Некнй автомобиль, доехав до этого места, остановился и повернул обратно — быть может, водитель что-иибудь потерял по дороге.

Пожалуй, мие все-таки следовало заехать к маме.

Мы столпилнсь перед скульптурой Геллерта Бано. Хуго Мелцер нервно прохаживался туда-сюда, иагнбался и осматрнвал ее сиизу, ощупывал.

Хотелось прикрикнуть на него.

Вижо не сводил с меня настороженного взгляда.

— Видишь?

Скульптура Геллерта Бано.

Это была моя скульптура. Совершенно другая и все же моя. Но я — председатель жюри.

Инкеи ввалился с заказом на монумент. Для нас обоих.

— Нет.

Инкеи изумленно уставился на меня. Магда поджала губы.

— Нет,— повторил я.

Я заперся в мастерской и достал старые эскизы. Они были чужими. Я лихорадочно принялся за работу, но из-под пальцев выходили одни лишь формы — душа в них отсутствовала. Глина на столе насмехалась надо мной. Я заплакал. На другой день я начал все снова. Скульптуры не было, я потерял ее.

Страшно захотелось к Марго.

Но я не пошел.

— Мерзавец,— сказал Инкеи.

Совершенно чужой, он сидел у моей постели.

«Действительно мерзавец»,— подумал я.

Бодвари сбежал за границу.

Бокрош покачал головой:

— Что это?

— Скульптура,— ответил ему Раи.— Первая из всего, что мы видим сегодня.

Все посмотрели в мою сторону.

Вспомнилось, как уходил Геллерт Бано по гулкому коридору, как громыхали его шаги.

В зале воцарилась напряженная тишина. И в этой тишине бредет мальчик с котомкой за плечами. Мужчина в очках на сцене Парламента, он одет в рабочий комбинезон, а руки выпачканы в гудроне. Ему протягивают красную кожаную коробочку. Напряженная тишина.

— Такое иельзя выставлять. Некоторые слишком уж любят преувеличивать.

— Присуждаем этой скульптуре первую премию,— тихо произнес я и, круто повериувшись, направился к двери. Звука собствениых шагов я не слышал.

В дверях стояла Магда.

Я шагал быстро. Оиа бежала рядом, вцепившись мие в руку. То красиыми, то зелеиыми огиями вспыхивали светофоры. По улицам мчались огромиые чериые лимузины.

— Не сердись иа меня,— сказала Магда.

У иее зуб на зуб ие попадал.

Действительно, было холодио. Под перезвои витрииных стекол в город вступали майские заморозки.

Пес по имени Геза Бартушек

Бартушек бежал вверх по улице Меиеши, всем своим видом демоистрируя отличиое расположение духа. Ои зигзагами носился по мостовой, время от времеии останавливался, чтобы передохиуть, и, свесив язык, пожирал глазами сидевших иа заборе воробьев. Зрелище это быстро ему иаскучивало, и он мчался дальше, бесстыдно задирал ногу у фоиарных столбов и дружелюбио обнюхивал прохожих, которые, одиако, в ужасе шарахались от иего. На первый взгляд ои производил впечатление упивающегося свободой бродяги. Ни иамордиика, ии хотя бы какого-иибудь заваляшего ошейиика иа Бартушеке ие было.

Справедливости ради должеи заметить, что его тогда еще ие звали Бартушеком. Его вообще никак не звали.

Мы вчетвером стояли и о чем-то спорили, когда Бартушек подбежал и с иаглым любопытством принялся иас обиюхивать.

— Эй, ты чего? — спросил я и нерешительно притопиул иогой, надеясь таким образом его отогнать.

Он завилял хвостом и встал чуть поодаль.

— А глаза у него красивые.

— Представляю, сколько такая псина съедает за день!..

Бартушек будто понял, что говорят о еде; он уселся на тротуар и смотрел теперь выжидающе.

— Э-э, братец, если ты проголодался, то попал не по адресу.

Этим словам Бартушек почему-то обрадовался и опять завилял хвостом.

— Ну, счастливо оставаться!

Мы зашагали по направлению к общежитию. Бартушек встал и, подняв переднюю лапу, с грустью глядел нам вслед.

Шерсть у него была серебристо-темная, какую и положено иметь немецкой овчарке.

Скупые солнечные лучи и морозный воздух образовали над Бартушеком нечто вроде ореола. Он стоял неподвижный как изваяние, и поза его была позой святого, оскорбленного в своей праведности.

Эрнё обернулся и присвистнул.

Бартушек будто только того и ждал. В три прыжка он догнал нас, стал радостно прыгать вокруг, Тибору лизнул руку, а меня дружески потрепал за штанину.

— Ну-ну, старина, полегче...

— Хороша псина, а?

— Ага.

— Давайте возьмем. А то что это за общежитие без собаки!

— Зато, как я вижу, не без осла.

— Тоже мне остряк нашелся... Живодер!

На спор Бартушек не реагировал. Он уже причислил себя к нашей компании, а все прочее не имело для него никакого значения.

— Ах, господи, какой красавец! — Импозантная дама даже остановилась, увидев Бартушека. Лицо ее, покрытое толстым слоем косметики, выражало безмерную любовь ко всему собачьему племени.— Ваш?

— Разумеется. А вы разве его не знаете? Это же знаменитый Джек!

Дама удивленно взглянула на Тибора. Мы тоже.

— О нем и газеты писали,— не моргнув глазом, продолжал он.— Спас малыша, тонувшего в Дунае, и получил за это правительственную награду.

Положение Бартушека в нашем обществе, таким образом, окончательно утвердилось. Хотя сам он во время этого разговора самозабвенно занимался «переучетом» деревьев, росших вдоль тротуара.

— А дамочка-то и уши развесила.

— Эти верят во все, кроме правды.

— Джек! Веди себя прилично, раз ты такой заслуженный.

Бартушек с виноватым видом поплелся за нами.

— Умный пес.

— А как же! Наш человек!..

У входа в общежитие мы озадаченно переглянулись.

— Что делать будем?

— Поселим у директора в кабинете.

— Идея что надо!

— Покормим и выгоним.

— Может, он еще и не пойдет...

Последнюю фразу промямлил я и почти тут же убедился, что недооценил Бартушека. Он пошел, нет, не пошел — припустился вверх по лестнице, прыгая через четыре ступеньки, остановился на площадке между этажами, дождался нас и снова рванулся вперед. Первым вбежал он и в нашу комнату — тщательно обследовал все углы, обнюхал постели, пролез под столом, даже заглянул в окно и только когда обжег себе нос о батарею отопления, угомонился.

— Голодный. Есть у нас что пожевать?

Все только усмехнулись.

— Да-а, Джек, с нами не разжиреешь.

Бартушек завилял хвостом.

— Не понимает, бедняжка.

Эрнё некоторое время молча смотрел на пса, потом вдруг сказал:

— У меня есть кусок хлеба.

— Где?

— Здесь,— показал он на тумбочку Шандора.

— Почему это ты свой хлеб хранишь в моей тумбочке, интересно знать?

— Потому что в любом другом месте его от вас не спрячешь, господин обжора! Но слава богу, тут кое-что имеется...— Эрнё с улыбкой похлопал себя ладонью по лбу.

Шандор обиделся:

— Ну, погоди же...

— Давайте разделим поровну.

— Что тут делить-то! Этой псине и так разве что на один зуб хватит.

Бартушек поймал кусок на лету и разочарованно выплюнул.

— Это еще что за фокусы?! А ну ешь!

— Хлебом брезгуешь, собака?!

— Сразу видно, что не был студентом. Ничего, потом передумает.

— Ребята, а вдруг он из какой-нибудь благородной семьи?

— Может, о нем объявление в газете дадут... Тогда нам, глядишь, и перепадет форинтов эдак пятьсот как нашедшим и честно вернувшим...

— В крайнем случае, продадим.

— Продадим?.. Кто его, к черту, купит?! Давайте лучше раздобудем ему жратвы.

— Вперед, Джек!

Бесконечно счастливый Бартушек семенил перед нами по длинному коридору, а мы стучались во все комнаты подряд. Бартушек, разумеется, каждый раз влетал первым, обнюхивал хозяев, а те в испуге поджимали ноги.

— Найдется чем пса покормить?

— Это ваш?

— Украли?

— Еще чего! С этой зверюгой папаша посылает мне срочные письма из Орошхазы.

— И доходят?

— Конечно. В течение часа.

— Ух ты!..

Перепадало где что — тут шкурка от сала, там кость. Бартушек пировал. Через полчаса его уже знало все общежитие. Вернувшись к нам в комнату, он по-хозяйски развалился на кровати, и согнать его оттуда на пол было не так-то просто. Пришлось одолжить у соседей мешок, чтобы устроить ему место для ночлега.

В дверь постучали. На пороге стоял первокурсник с исторического факультета, родом, если не ошибаюсь, из Канижи.

— Я тут сала немножко принес.

— Отлично, клади на стол. Эй, да не вздумай ему давать! Он ест только жареное. Язва у него.

— У пса?

— Нет, у моей прабабушки!

— Ему даже операцию делали — настолько он ценный пес. Британское общество собаководов оценивает его в тысячу фунтов... Да клади же, клади свое сало!

— Неплохо, если бы ты и хлеба принес. Просто так он не любит.

— Привередливый...

— Не гладь, он этого терпеть не может. Неси лучше хлеб поскорей.

Он принес. Мы съели. И сало, и хлеб. Бартушек, глотая слюнки, возмущенно глядел на нас.

— Ты сегодня уже налопался, старина, да и хлеб ты еще не съел. Так что сиди и помалкивай.

— Ребята, а ведь у него имени до сих пор нет.

— Как нет, а Джек?

— Да ну, каждая вторая собака Джек.

— А у нашей правительственная награда!

— И письма из Орошхазы носит!..

Все засмеялись и с гордостью посмотрели на Бартушека. Ему в этот момент приспичило чесаться.

— Эй!.. Блох своих при себе оставь!

— Может, дадим ему кличку Авессалом?

— Чего-чего?

В дверь опять постучали, на этот раз громко, решительно. Явился взбешенный комендант.

— Это вы притащили в общежитие пса?! Ну да, конечно... Хорошо еще, что не открыли здесь филиал зоопарка.

— Мы не тащили, он сам пришел.

— Что значит сам?

— Увязался за нами, мы хотели прогнать, а он как зубы оскалит...

— Не морочьте мне голову!

— Да вы сами попробуйте... Авессалом!

— Что-о?

— Я говорю, Авессалом. Зовут его так.

— А-а...

— Ну, вы попробуйте, попробуйте его выгнать.

Комендант попятился — явно струсил.

— Чтоб через тридцать минут собаки здесь не было! Цирк, понимаете ли, устроили. В противном случае нарветесь на неприятности. Это так же верно, как то, что меня зовут Геза Бартушек! — заявил он и ушел.

— Ну, старина, труба твое дело.

— Не любит тебя комендант.

— А давайте звать его Бартушеком. Гезой Бартушеком! А?

— Неплохо. Бартушек, к ноге!

Вскоре нас вызвали на студенческий комитет.

— Товарищ комендант жалуется, что вы завели в общежитии собаку. Это нехорошо, ребята, это все-таки общежитие,— уныло вещал председатель студкома Гебауэр — начинающий бюрократ, уже и брюшко нагулял.

Потом он взглянул на Бартушека и, чтобы продемонстрировать, что он, мол, тоже любит животных, но общежитие есть общежитие, сказал:

— Иди сюда, песик.

— Как ты с ним разговариваешь?!

— Что значит как разговариваю?

— Во-первых, брудершафт ты с ним не пил, а во-вторых, у него есть имя. Честное имя!

— Не валяй дурака!

— Бартушек, не чешитесь, пожалуйста, в присутствии членов студенческого комитета. Ай-ай-ай, как нехорошо!.. Лежите спокойно.

— Что?! Ты обращаешься к псу на «вы»?

— Разумеется.

— И как же его зовут?

— Бартушек. Геза Бартушек.

— Это свинство! Назвать собаку именем товарища коменданта!..

— Да никто ее так не называл...

— ...Надо иметь хоть немного уважения к старшим!

— Ну что ты заладил! Говорю же: не называли мы...

— С чего же вы тогда взяли, что этот пес — Бартушек?

— Он вошел и представился: так, мол, и так, говорит, меня зовут Геза Бартушек...

— Нет, это переходит все границы!..

— Он и метрику предъявил.

— Хватит!.. Хватит устраивать балаган! Чтобы сию же минуту собаки здесь не было!..

— Бартушек, поблагодарите студенческий комитет. Ну, что вы, право, пасть разинули и молчите?

— Во-он! Идиоты!..

Хотели мы того или нет, с псом надо было расстаться. Мы повели его на гору Геллерт, заранее сговорившись разбежаться там в разные стороны. Подальше забросили палку и, пока он искал ее, рванули кто куда. Встретились уже внизу, на улице Менеши.

— Бедный пес!

— Жалко его.

— Ничего, ему же самому будет лучше.

— Можно было бы брать его с собой в университет...

На ступеньках у входа в общежитие сидела собака. Завидев нас, она кинулась навстречу, радостно виляя хвостом. Это был Бартушек.

Пришлось оставить его до утра. Ночью он каждые полчаса обходил комнату, цокая по полу своими длинными когтями,

а на рассвете принялся лаять и тыкаться носом то в одного, то в другого из нас.

Утром мы взяли его в университет и накормили завтраком в студенческой столовой. Присутствовал он и на лекции по языкознанию. Когда речь зашла о трактовках смыслового значения корней, Бартушек вдруг завыл. К счастью, профессор любил собак.

Бартушек прожил у нас еще два дня. Он пожирал все съедобное, мешал нам спать по ночам, насмерть перепугал уборщицу. В конце концов пребывание его в общежитии стало во всех отношениях нетерпимым. Мы сколотили ему конуру во дворе, но он наотрез отказался в ней жить. Ни за что на свете он не желал оставаться один в комнате и сопровождал нас везде и всюду. Вдобавок он съел весь наш субботний ужин. Терпеть его выходки у нас больше не было сил.

— Нехорошо вы себя ведете, Бартушек,— сказали мы ему с укоризной.

Бартушек изобразил на морде подобие виноватой улыбки.

Мы ежедневно прочитывали все объявления в газетах, но немецкую овчарку никто не разыскивал.

Во время одной из прогулок мы снова забрели на улицу Менеши.

— Бартушек, ну будьте же человеком — сгиньте, пожалуйста, от греха подальше.

— Случайно не продаете этого милого пса? — Перед нами возник статный мужчина в шляпе.

— Извольте, на редкость хорошая псина.

— Я бы купил, если можно.

— Ну что ж...

— Сколько вы просите?

— Призер выставки, знаете ли... Дрессированный, не дворняга какая-нибудь...

Бартушек, стоя в сторонке, поглядывал на нас с подозрением.

Мужчина заплатил сотню, и мы приладили Бартушеку в качестве поводка веревку.

— Как зовут?
— Геза Бартушек.
— Я имею в виду пса.
— Я тоже.
Мужчина в недоумении уставился на меня:
— Так как же?
— Можете называть, как хотите.
— Ну, вот и ладно... Идем, Джек!
Бартушек упирался. Он скулил и жалобно оборачивался на нас. Мы отвернулись и долго не смели взглянуть друг другу в глаза.

Пять, шесть, семь

Грохот механического цеха со скрежетом вырвался из окна, он хотел повергнуть в прах целый мир, содрать листву с деревьев, разрушить до основания стены, порвать все на свете барабанные перепонки. А вот далеко ли он докатился, не знаю. До облаков-то уж точно нет, до середины леса точно нет, до сердцевины семян и птичьих яиц и подавно нет. Да, может, он уже в конце соседней улицы поджал хвост, словно трусливая дворняга, присмирел, шагнул еще раз-другой и — протянул ноги. Но к нам в контору он все-таки дотянулся, однако, в предчувствии близкой смерти, был уже тише воды ниже травы.

Словом, нам он не помешал, и мы как сидели, так и сидели за солидными своими столами, солидные мужчины в солидных черных костюмах, и в головах у нас были одни только зубчатые передачи, трансмиссии, коэффициенты трения, синусы, моменты вращения, отклонения углов, валентность и атомный вес.

И тут негромко взвизгнула дверная ручка. «Кажется, я просил, чтобы никто...» — возвысил было голос директор и вдруг осекся, а у всех у нас, техников, инженеров, мастеров,

главных механиков, машинистов, диспетчеров, перехватило дыхание. На пороге стоял старик с большой белой бородой, в маково-красной рубашке, кроваво-красном фраке, помидорно-красных штанах, а на ногах у него были вороново-черные сапоги, на голове — вороново-черная шляпа.

Белобородого старика не смутили ни голос директора, ни ошеломленная тишина, он даже не замешкался в дверях и решительно, ни на кого вокруг не оглядываясь, подошел прямо ко мне.

— Вас ждут,— сказал он, и его вороново-черные сапоги будто вросли в землю, а вороново-черная шляпа покачивалась высоко надо мной нелепым сорочьим гнездом.

— Кто меня ждет и с какой стати, и разве вы не видите, что я очень занят?! — закричал я обороняясь, потому что клоунски красный и дьявольски черный страх уже захватил меня в свои лапы, мне стало страшно и почему-то тревожно; я чувствовал, эти две дюжины глаз вокруг могли бы меня спасти, защитить, но они уже обвиняли, но они смотрели враждебно, но они гнали меня, говорили: ступай!

— Цветок,— сказал красно-черный старец,— ваш цветок.

И забулькали, забулькали сдержанные смешки, зашелестел двусмысленный шепоток: ах, ну как же, ну как же, цветок... мое лицо стало красным, как фрак, красным, как штаны, красным, как рубаха.

— Какой там еще цветок, я не знаю никакого цветка,— прошипел я сквозь зубы, а в мозгу между тем все завертелось: кружились в плясе зубчатые передачи, шаркали ножкой моменты вращения, а коэффициенты трения, словно музыкант скрипку, прижали к плечу трансмиссии.

Ох, головы в черном.

Старик, будто не заметив беспомощной моей задиристости, ответил:

— Цветок вас ждет там, на лесной поляне.

И, сказав так, попятился к двери и уже было вышел, но его остановил еще неслышный, но уже готовый вырваться хохот; вороново-черными своими глазами старик обвел всю компанию, и холодом дохнуло в комнате, и сразу застыло

веселье, мои коллеги заиндевело нахохлились и не шевельнулись, пока он не ушел.

Но уж тут так и грянули, так и ухнули, зазвенели и забренчали «ха-ха-ха», «хи-хи-хи», в меня тыкались указующие пальцы, вперились ехидные взгляды, щерились челюсти с мостами и без мостов, губы-«а», губы-«о», губы-сливы и губы-гусеницы...

Я тихо встал,— какой бал, какой пляс в голове! — на насмешников я не сердился. Да и что уж сердиться, как же сердиться, когда сам я почти что верил: на лесной поляне меня ждет цветок. Я вышел на заводской двор и теперь окончательно поверил в существование цветка — ведь грохот и здесь не посмел коснуться меня, он проскользнул где-то над моей головой, рванулся было к спине, но тут же, разделясь на два потока, бережно обминул мои плечи, даже под ноги мне броситься не решился.

Сомнений не оставалось: цветок меня ждет!

Ну, конечно, вот и собачий лай на окраине города не достигает моих ушей, я вижу лишь разверстые собачьи пасти, оскалы острых зубов — но лай, словно камень, падает наземь за несколько метров до меня...

Я уже бежал, бежал со всех ног.

В лесу стеклянный колпак тишины с легким хрустом слетел с меня, даже кожей услышал я птичьи трели, шорох листвы.

В самом деле: на поляне меня нетерпеливо ждал белый цветок. Он весь дрожал.

— Мне холодно,— прошептал цветок,— помоги!

Я опустился возле него на корточки, бережно обнял ладонями его чашечку.

— Мне холодно,— повторил цветок.

— Сейчас я подышу на тебя,— пробормотал я; как же еще мог я согреть его?

— Мне нужно солнце, солнце,— взмолился цветок.

— Но вот же солнце, в самом зените. Оно светит прямо на тебя,— отвечал я.

— Замерзаю,— жалобно простонал цветок.

— Не в моих силах помочь тебе,— проговорил я горько, но цветок не дал мне закончить фразу:

— Нет, ты можешь, можешь! Нынче ведь понедельник, и то́ солнце, что сейчас над нами,— понедельничное солнце. Но ты дай мне еще одно солнце, то, что для вторника. Дай мне его!

Я хотел объяснить, что не обладаю подобным могуществом, но, оглянувшись на деревья и травы, понял, что не вправе сказать такое: деревья и травы все ко мне изогнулись, в самих изгибах их спин были ободрение и вера.

— Ну хорошо,— сказал я цветку,— я дам тебе солнце вторника.

И едва я произнес эти слова, на востоке показалась кроваво-красная голова вторничного солнца, оно щурилось, колебалось как будто, а потом, словно отпущенный воздушный шар, стало подыматься все выше в разреженном воздухе.

Лепестки моего цветка росли на глазах, их цвет стал желтым — цветом примулы.

— Вот видишь, видишь, как потеплело! — прошептал цветок и даже улыбнулся мне мимолетно; однако и в ярком сиянии двух солнц он продолжал дрожать.

— О, пожалуйста, солнце среды! Дай мне и третье солнце! — с мольбою воскликнул цветок.

Я просительно вскинул к небу руки — пусть, пусть придет к нам солнце среды! — и тотчас устремился к зениту третий, яростно красный, пузырь.

Три солнца сияли в небе, тройной силы свет выбрировал среди деревьев, благостное тепло баюкало землю, оно приняло нас на свою спину, словно ласковое море с густой от соли водой; мы плыли, покачивались, вздымались, лепестки моего цветка налились живыми соками, его темно-синяя, как море, улыбка проникла в меня до костей, озарила траву и деревья, вокруг засияли ветви кустов.

— Солнца, солнца, еще солнца! — радостно, громко крикнул цветок и засмеялся; и тотчас по моему знаку крылатым чудо-конем взлетело ввысь и четверговое солнце, нам было несказанно хорошо от тепла и света, пропитавшаяся све-

том земля лучилась теплом, в блаженном забытьи покачивали свои стволы деревья, свет проникал до самых микроскопических их корешков.

Мой цветок стал величиною с тюльпаи, словно роскошный драгоценный камень, он отливал голубым, он сиял так же ярко, как сияли в небе четыре солнца.

— Пусть же и пятничное солнце станет твоим! — само собой вырвалось у меня.— Ну же, выходи, пятничное солнце!

И вот оно взошло, золотисто-величественное, теперь свет стал весомым, жара давила, налегала на нас непомерным грузом, вокруг меня слышалось прерывистое, исполненное неги дыхание деревьев. В сиянии пяти солнц мой цветок стал тускло-красным, стал похотливо дразнящим, он покачивался перед моим лицом, залитым по́том, в его красноте проступало горделивое торжество — пять солнц на небе, пять шаров расплавлеиного золота.

— Хочу и субботнее! — закричал цветок, и я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, повторил за иим вслед:

— И субботнее!

Субботнее солнце подымалось с одышкой, оно тяжело карабкалось к зениту в раскаленном ливне света, глаза едва терпели слепящий ножевой его блеск, несусветная жара пригибала к земле, стволы деревьев скрипели в жарких объятиях, все мы едва дышали. Я приник к земле лицом, вокруг разлился багряный свет, я знал, мой цветок стал багровым, он был уже выше меня, я видел, как в его зеленом стебле толщиной в руку переливались соки, он прохрипел что-то невнятное, и я, прижатый к земле, почти задушенный, тем не меиее поиял, чего он желает, я поднял руку, даже не поднял, а лишь чуть-чуть шевельнул ею, но этого оказалось достаточно: воскресиое солице уже подымалось в небо, ко всем остальным. Теперь сияние стало звучащим, оно гудело, бурлило, воздух стал густой и тягучий, как ртуть, я чувствовал, что жар вот-вот втянет меня, расплавит в себе, я обеими ладонями зажал глаза; возможно, меня уже и нет в живых, думал я, возможно, весь мир превратился в густую

гомогенную лаву, в этой лаве плыву и я, мон клеткн постепенно удаляются друг от друга, вскользь касаются такнх же разъединнвшихся клеток растений, рыб, птиц н плывут дальше, расщепляясь на атомы, ведут нескончаемый хоровод, кружат н с атомами моего цветка, атомамн камней, земли, заводскнх труб, детских игрушек, о, семь солнц в небе!

— Держу пари, ты сейчас черный,— простонал я, обращаясь к цветку, н тут вдруг по моей спине прошел холодок, я почувствовал, как оседают на меня прохладные капельки тумана, я приподнял голову, был на мгновение ослеплен красным свеченнем — н все кончилось: я увндел лишь красные краешкн семи солнц, семью камнями онн рухнулн за горнзонт, н меня объяла тьма. Все стало черно, черно, как черный цветок.

По коже заскользнл, засновал холод, он добнрался уже до самого нутра.

— Где ты,— закричал я,— где ты?

Ответа не было, мой цветок молчал.

Медленно, осторожно я начал ощупывать землю вокруг себя, я искал цветок, но его не было, только трава да камешкн, камешки да трава. Я ползал по поляне все быстрее, уже не заботясь о том, что могу поломать цветок, еєлн он попадется мне на путн: лншь бы коснуться его стебля, пусть сломленного, лепестков, пусть помятых, лншь бы знать, что он существует, мой цветок.

Но я не нашел его. И вдруг в голове блеснуло: о господи, ведь шесть дней будет тьма, шесть дней в небо не подымется ни одно солнце! Я кинулся бежать, полагая, что бегу к дому, но мои ноги запутывалнсь в траве, ветви хлесталн меня по лнцу, я спотыкался о корневища, налетал на стволы деревьев. Я метался по темному лесу, то н дело падая ннц, я совсем обессилел, на несколько короткнх мгновений меня сломнл сон, н было по-прежнему темно, и я не знал в этой тьме, вторнпк сейчас или пятница, утро нлн ночь, я бормотал что-то, кричал, может быть, даже плакал. Тьма, тьма, тьма. Я совсем уже верил, что умираю; потеряв всякую надежду, промерзнув насквозь, я лежал на мертвенно-стылой земле,

надо мной проносились тени сов, чешуя пресмыкающихся скользила по моей коже.

О, семь солнц в небе, жар огнедышащей лавы, черный, черный цветок!

Потом, когда я почувствовал, что сил уже не осталось, край неба вдруг стал чуть заметно светлеть, на сером отчетливо проступили черные стволы деревьев. Рассветало.

Я бегом бросился к городу, я услышал грохот заводских цехов, страх и счастье охватили меня.

— Простите меня,— сказал я моим коллегам,— простите меня за шесть дней тьмы.

Они смотрели удивленно, высоко подняв брови.

— Шесть дней тьмы? О чем ты?

Я прижался спиною к стене. Они не заметили, что на небе светило семь солнц, они не заметили, что шесть дней царила тьма! Я вжимался спиною в стену.

Полоумный колодезник

Сотню, а может, и тысячу колодцев сработал на своем веку полоумный колодезник. Сперва дерн заступом расковыряет, после мягкую глину выгребет — и готово, на дне ямы захлюпало, зажурчало. Бывало и так, что камни требовалось долбить, но он не отступал — кайлил, дробил, пока на дне не захлюпает, не зажурчит. И тогда колодезник глянет из глубокого мрака наверх, зажмурится, ослепленный блеском круглого кусочка неба — ну, да не до этого сейчас,— и крикнет во всю мочь: вода!

Люди радовались воде — на солончаках ли, когда слышали знакомый голос, что доносился из двухметровых колодцев, или посреди крепостных площадей, когда из невообразимых глубин точно воздушный пузырек вырывался на поверхность всё тот же крик: вода!

Уважали колодезника люди. И денег дадут, и коржиками

с пылу с жару попотчуют, и ночевать оставят, и шляпу, коли встретят на улице, не преминут снять. И чтоб кому-то взбрело обозвать его полоумным?!

А всё ж прозвали так — после того, как он, ни единым словом не обмолвясь, взял да и бросил рыть колодцы; облюбовал себе лужайку, придет с утра, уляжется, руки под голову, и день напролет с неба глаз не сводит.

Много было таких, что наведывались к колодезнику, упрашивали — мол, колодец позарез надобен, а он даже и не привстанет, только головой мотнет.

— Хватит,— говорит,— с меня этих колодцев, всяко разных накопать успел — и с человека ростом, и таких, что орать устанешь, покуда доверху доорешься. Теперь что-нибудь другое смастерить охота.

— Что значит другое? — допытывались у него.

— Как что? Знамо дело — колодец!

Люди шушукались, судили-рядили:

— Колодезник-то ополоумел. То ему неохота колодцы копать, то опять же охота. Как есть полоумный!

А колодезник и в ус не дует, знай себе день-деньской на травке валяется, руки за голову заложив. Стало быть, с этой самой поры и окрестили его всем миром: полоумный колодезник. Даже те называли его так, которые из его же колодцев воду пили.

Но в один прекрасный день колодезник вдруг встал, сходил домой за инструментами и, воротившись, приступил к работе. Да такое вытворять начал — уму непостижимо! Зашумела молва по всей округе:

— Вконец ополоумел! Воздух роет.

Любопытных набежало тьма, обступили лужайку, гогочут. Ан вскоре поумолкли, будто хохот в глотках застрял. Потому как видят: под ударами заступа от воздуха целые глыбы откалываются, сам же колодезник от земли кверху движется. И делает ведь, что обыкновенно делал,— кайлит, роет, сруб ладит, но сам меж тем все выше да выше забирается. Вот уже долбит облачные утесы, вот прошел плотные слои атмосферы, и на землю из небесного колодца посыпались

сверкающие пылинки и осколки звезд. Уже почти и не разглядеть колодезника, темным комочком обернулся, но голос его люди услышали. Видно, там, наверху, захлюпало, зажурчало — вот на радостях колодезник и крикнул, по обыкновению, а крик эхом отдался в небесном колодце. Только что́ именно он крикнул — никто толком не разобрал.

— Чего он там кричал? Про что? — взбудоражились люди. Но как раз в этот самый момент колодезник пробил последний слой, оказавшийся тоньше пчелиного крылышка, дно небесного колодца разверзлось, и колодезник рухнул в космос. И полетел-помчался, сделавшись почти невидимым, пока не замерцал подобно народившейся звезде. И тотчас по колодезному срубу вниз к земле метнулся сполох необыкновенно яркого сияния, и луговые травы заискрились, точно россыпь изумрудов.

Люди закрылись руками.

— Полоумный колодезник, полоумный! — загалдели все разом.

А колодезник по сей день парит мерцающей звездой в небесных высях, пролетая галактики, солнечные системы, млечные пути, и знает он, где людям искать себе пристанище, если на земле водворится долгая тьма.

Семь моих возлюбленных

Возлюбленных у меня ровно семь.

Плечи костлявые, лицо лошадиное, характер сварливый — это первая. Что ни делаю, все не по ней. Работать мешает и сама же грозится: мол, вот увидишь, ничего из тебя не получится.

Вторая — крошка и пышечка, ей бы детишек побольше; улыбается при каждом удобном случае. А как славно поет! Петь она и умеет и любит.

Третья — худенькая, воздушная, сплошное очарование.

Жить желает по совести. Сама ни разу не солгала и меня наставляет, чтобы говорил только правду. Да подчеркивает: не солгать, набрав в рот воды,— премудрость невелика.

Четвертая — писаная красавица. Я бы даже сказал, обольстительница, каких мало. Бедрами на ходу так и крутит. Выпить, поесть да потанцевать — вот и все, что ей надо. Все ей едино — бар, кабаре; не побрезгует и пивной. Но при этом никогда не пьянеет. Соберет вокруг себя разносчиков угля и знай хохочет, знай заливается. Прямо пышет соблазном. Ну, и угольщики, дело ясное, смеются в ответ.

Неговорливая, скромная, работящая — это пятая. Все порядок наводит и верит: вот в другой раз придет, а я вымыт, причесан и ботинки сверкают, как зеркало. Верит — ну несмотря ни на что. Печальная, с виду даже суровая, право слово — аттическая вдова.

Шестая — фривольница. Все бы ей нежиться, все бы гулять да танцевать до упаду. Или носится как заведенная, пока не посмотрит во всех кинотеатрах все фильмы. Однако и к птичкам неравнодушна. А зацветут, бывало, деревья, так она часами в саду просиживает. И меня уговаривает: надышись, дескать, светом, воспари над землей и шагай, едва ее касаясь.

Седьмая вечно одета в черное. Не помню, чтобы хоть раз она улыбнулась. Замкнутая и все о душе моей печется. Предостерегает и поучает. Да наставляет, чтобы хранил им всем верность, всем моим семерым возлюбленным.

А я — изменяю им.

С первой бездельничаю, не улыбаюсь второй, третьей лгу, допьяна напиваюсь с четвертой, пятую неизменно шокирую хаосом, назло шестой ненавижу цветы, а седьмая напрасно твердит, чтобы я всех любил.

Та, костлявая,— понедельник, крошка-пышечка — вторник, совестливая — среда, сластолюбица — четверг, вдовушка — пятница, фривольница — суббота. А не улыбается никогда — воскресенье.

Вот возьмут да изменят они — что-то будет!..

Содержание

5 *Е. Малыхина.* Фантастический и реальный мир Эрвина Лазара

10 Фокусник. *Перевод П. Бондаровского*

18 Огонь. *Перевод П. Бондаровского*

21 Большая птица. *Перевод П. Бондаровского*

32 Воробей в Сердце Иисусовом. *Перевод Е. Малыхиной*

90 Лошадь в доме. *Перевод Е. Малыхиной*

92 Мой крылатый человек. *Перевод Е. Малыхиной*

96 Капкан. *Перевод Е. Малыхиной*

101 Если ты мудр, как змея. *Перевод П. Бондаровского*

138 Пес по имени Геза Бартушек. *Перевод П. Бондаровского*

146 Пять, шесть, семь. *Перевод Е. Малыхиной*

152 Полоумный колодезник. *Перевод В. Ельцова-Васильева*

154 Семь моих возлюбленных. *Перевод П. Бондаровского*

Лазар Э.

Л17 Фокусник: Рассказы/Пер. с венг. Сост. М. Ульрих. Предисл. Е. Малыхиной.— М.: Известия, 1987.— 160 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Рассказы сборника взяты из венгерских изданий разных лет. Они познакомят советского читателя с прошлым венгерского села, с жизнью современных горожан. Кроме того, в книгу вошли миниатюры, написанные живо и остроумно и ставящие коренные проблемы бытия.

Л $\frac{4703000000-043}{074(02)-87}$ 70—87

ББК.84.4Вн
И(Венг)

ЭРВИН ЛАЗАР

ФОКУСНИК

Ответствеииый за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художествеииый редактор *С. Мухин*

Техиический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1105

Сдано в набор 24.07.86. Подписаио в печать 14.01.87. Формат 70×100/32. Бумага офсетиая № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. л. 13,3. Уч.-изд. л. 7,27. Тираж 50 000 экз. Зак. № 807. Цеиа 80 к.

Издательство «Известия Советов народиых депутатов СССР», 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можвйскнй полигрвфкомбиивт Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфни и книжиой торговли, 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

80 коп.

Эрвин Лазар (р. 1936) — венгерский писатель. Его первая книга — роман-сказка "Мальчик и львы" — была опубликована в 1964 году. Перу Э. Лазара принадлежат сборники рассказов: "Короткий четверг" (1966), "Лопата угля для Нелли" (1969), "Грустный Будда" (1973), "Республика Машоко" (1981), а также повесть-сказка "Бедняк Джонни и Арника" (1981), удостоенная международной премии имени Горького. На русском языке вышла книга Э. Лазара "О квадратно-круглом лесе, Микке-мяу и других" ("Детская литература", 1985).